

В. Л. Л И Д И Н

ГОЛУБОЕ



ЖЕЛТОЕ

ИЗД. „ПУЧИНА“—1925

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПУЧИНА“

Склад издательства: Москва, Петровские линии,
угол Петровки 1/20, тел. 4-90-76.

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- Пьер Бенуа, Поль Бурже, Жерар Д'увиль, Анри Дювернуа. **Роман Четырех.** Перевод с французского О. Овсянниковой и В. Мазуркевича. Цена 1 руб.
- О'Генри. **Нью-Йоркские рассказы.** [Пер. с английского В. Додонова. Цена 60 коп.
- Морис Леблан. **Канатная плясунья.** Роман. Пер. с франц. Н. Казмина. Ц. 1 р. 50 к. (Разошлось)
- Л. Никулин. **Никаких случайностей.** Кинематогр. роман. Цена 1 р. (Разошлось). Готовится II-ое издание.
- Л. Никулин. **Тайна Сейфа.** Роман. Ц. 1 р. 20 к.
- Л. Никулин. **Хмель.** Роман. (Печатается).
- Вл. Лидин. **Голубое и желтое.** (Печатается).
- Клод Фаррер. **Душа Востока.** Роман. Цена 1 р.
- К. Фаррер. **Человек, который убил.** Роман. (Печ.)
- К. Фаррер. **Жизнь за мечту.** (Печатается)
- Г. Павлов. **Дом рабов.** Роман. Цена 1 руб.
- Морис Ренар. **Новый зверь.** Фантастическ. роман. Пер. с французского Р. Калменс. Ц. 1 р. 20 к. (Разошлось).
- Илья Эренбург. **Лик войны** Цена 95 к.
- И. Эренбург. **Акционерное общество „Меркюр де Рюсси“.** (Печатается).
- Жан д'Эм. **Красные боги.** Перев. с французского Н. Казмина. Цена 90 коп.
- Ноэль Роже. **Человек будущего.** Роман. Перевод с французского Р. Калменс. Цена 1 руб.
- Г. Жулавский. **На луне.** Роман. Пер. с польского С. С. Михайловой-Штерн. Цена 1 р. 40 к.
- Г. Жулавский. **Победитель.** Научно - фантастич. роман. (Печатается).
- Г. Жулавский. **Возвращение на старую землю.** (Готовится к печати).
- Мавр Йокай. **20.000 лет надо льдом.** Роман. Пер. с венгерского.

ВЛ. ЛИДИН

ГОЛУБОЕ И ЖЕЛТОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПУЧИНА“
ЛЕНИНГРАД 1925 МОСКВА

Гублит № 3642—24-XII 24 г. Заказ № 3085. Тираж 5000 экз.

Рязгостиполитография.

ПАМЯТИ Л.

ПОВЕСТЬ О МНОГИХ ДНЯХ

I

Были годы метельные, были дни сизо-молочные; ночи пушистые, цыганские. Русская метель, исконная, все мотала, мотала жемчужными рукавами — над городом, над вокзалами, над путями дольными. В дольний путь уходили экспрессы; на вокзале, под сиренево-мутным светом, прощались у международного: за зеркальными стеклами было светло, тепло, покойно; проходил проводник; зимние розы в шелковой бумаге пахли слабо: меха, розы, запах шипра. Молодожены ехали во Флоренцию; адвокат в Киссинген — отдыхать, лечить желудок; представитель фирмы возвращался в Берлин; социал-демократы — на съезд; пока что бежали с чайником за кипятком.

Метель мела, поезд ревел, шел: путь ночной, инейный. В вагоне-ресторане пили кофе, вино; пахло сигарами, кофе плескалось в чашках; в купэ уже спускали на ночь синие чепчики на фонари. Молодые стояли у окна, на полутемной площадке, щека касалась щеки, смуглая парча искр лилась в мути за окном. Проводник стелил свежие, холодные простыни; представитель фирмы играл с адвокатом за

маленьким столиком в безик; поезд шел, шел, качался, ревел; зимние полустанки, станции с жидким светом, с киосками с веерами газет, с пожарскими котлетами, над которыми склонялся котелок коммивояжера. За станцией—город, черный, затерянный; голодные извозчики в саночках расписных; два-три огня. Кто жил в этом городе, чем жил, кого любил, кому молился? Люди утром просыпались в провинциальном городе, видели иней, мохнатые проволоки; крестились, зевали; ставили самовары, пили чай; шли в церковь; шли на службы; щелкали в клубе на биллиардах; пили водку с тостами либеральными—за просвещенное земство; возвращались, заваливались; одни петухи не спали, сторожили, перекликались. По ночам ревели экспрессы, приходя, отходя; телеграфные столбы ныли сыро. Поезд шел дальше: утром вдруг светлело солнце, снег бурел; проезжали ночью в каретке через Варшаву, золотую, ~~без~~сонную—через спящую Вислу. Городовой у моста; размен на фанеру, на дуб—Александровым, Вержбовым,—ленты шоссе, клетки полей. Потом были: Берлин, серокаменный, императорский, — паноптикумы светились, такси крикали; крикливая Генуя, синяя Адриатика—три ступеньки в фъезоле, где терпкое вино, запах лука, пушистые груды ризотти; горбоносый Рим и лавочки антикваров за Тибром: куски тканей, эмаль, стертая драхма Юстиниана; стеклянносиняя Венеция со своей стоячей водой, лагунами, зеленатыми на закате,—у окна гостиницы смотрели

молодожены на зеленый венецианский закат — и жизнь вставала долгими годами любви, содружества, счастья...

Адвокат утром ходил к источнику, пил горькую воду ракочки, делал моцион — пять раз вперед-назад по аллее, — на склонах темнели руины, замок Боденлаубе, с Шварцвальда дул ветерок: Шварцвальд лежал позади отрогами черно-зелеными, скатами, глушью, тенью Гейне. Представитель фирмы в Берлине сидел в Винтергартене, поглаживал белый усик, на сцене проходили солдатики, отдавая честь, с круглыми задами; косилась задорным глазом: милая Мицци, которую поджидал за столиком; мотор вез их в ночь, через город, сквозь аллею Побед, где стояли каменные, каменнозорые императоры. Политический деятель в салоне двум дипломатам, одному патеру развивал теорию экономического сближения, — патер качал головой одобрительно, после ужина были: танго-американ, танго-аргентин, ту-степп.

В провинциальном городе гласные думы обсуждали в седьмой раз вопрос о канализации; гласные разделились на партии: в одной — бюджетная комиссия — либералы, в другой — правые: жили без канализации испокон с выгребными ямами — проживут еще сто лет: лучше деньги ассигновать на читальню трезвости. В городе строили читальню трезвости, в винных лавках сидели сидельцы, торговали; стояли очереди. В жандармском отделении полковник в синих штанах раскуривал папиросу крепчайшую, жандарм с седыми подусниками прогуливался по вокзалу.

Деревни лежали в снегах, поезда проходили мимо: горбатые крыши, овины в снегу, журавли колодцев, торчащие в небо. Мужики у волостного толпились; стояли розвальни: вызывали судиться, отчитываться, платить недоимки. Государь, с пробором, в гусарском ментике красном, смотрел со стены; мужики снимали шапки, крестились, чесали лохматые головы, тяжелые от забот; жеребята бездумно жались к шершавым матерям. Мужики от заботы шли в винную лавку—сиделец давал сдачу грошики; назад ехали с песнями, розвальни раскатывало. На постоялом у целовальника требовали еще пузатый зеленый стаканчик; в лесах подвывали волки; на небе была комета, павлиний хвост свесившая: обещала глад, мор, засушье. Комета плыла медленно, серебряной кистью расписывая небо. В деревнях появились кликуши, пришел поп-разстрига Григорий, предвещал муки адовые, бабам брюхатым быть жабами, лягушами; мужикам—идти на войну. Мужики шли в винную лавку запивать комету, предсказ.

В Москве иней падал алмазно, дрожал над Тверскими, Ямскими, Всехсвятским. По Тверским вдоль звякали глухари, тройки везли к оранжево-золотистому Яру: в расписных санях сидели Зоя Ярцева—прелестная, темноглазая, адвокат, актер Васин, приват-доцент Якорев. Зоя куталась в мех, следы грима еще были у глаз, подведенных, за-таенно-цыганских. Адвокат, в распахнутых бобрах, под которыми белоснежная фрачная грудь сияла, на-

клонялся, говорил на ушко—глаза Зои становились темнее, туманнее. Васин-простачок хохлился—в Праге выпили, настраивался выпить еще; Якорев говорил, спорил сам с собой—вытягивал руку патетически: выбритый, с серо-желтыми волосами, гладко притертыми от пробора, с личиком скопческим в продольных морщинках. Премьера, где Зоя выступала, имела успех: автора вызывали, вызывали Зою; с автором за руку она выходила кланяться. Автора повезли ужинать в клуб: в старомодной визиточке, опьяненный,—глядел сквозь чудесный туман,—все были ласковые, близкие, добрые. Подали шампанское, с соседних столиков оглядывались—жизнь восходила чудесно, умопомрачительно, обещала радость, славу, богатство. В третьем часу с женой под руку возвращался пешком по черным улицам московским; снег выпал, белел; деревья над Пречистенским, над укутанным в снег Гоголем, нависли коридором белым, кружевным; от Храма Спасителя вскоре пахнуло широким ветром, простором: весна шла. С женой под руку, в старой шубке, милой, знакомой,—вышли к реке. Замоскворечье лежало во мгле тончайшей; зубчатая стена, башни терялись; дворцы императорские стояли темные. Ветер над рекой проносился. Так стояли, прижавшись, как в дальние годы, когда впервые сблизились милые уста, покорные. В театре огни уже потушили, было темно, зияла сцена. Журналист в редакции, грудью на столе, писал рецен-

зию: в пьесе не было действия, плохо очерчены основные фигуры; Зоя Ярцева тона не нашла.

В Праге, уже персиковой от приспущенных штор, в кабинете все еще банкет продолжался: знаменитого французского поэта, вислоусого, чествовали; кстати говорили о великом содружестве России и Франции. Поэт чокался, мокал усы, держался за печень, смотрел осовело, поправлял брюки сползавшие. Журналист с карандашиком пристроился сзади, просил высказать свое мнение о великой русской литературе; другой с другого бока сладкоголосо допрашивал: возможна-ли европейская война? Война была возможна; русская литература была великой. По лестнице вестибюля, по красной дорожке, спускались медленно; цвели гиацинты в горшках, мохнатые гортензии; извозчики у подъезда приплясывали, лошади под попонами, с курчавыми от инея мордами, ожидали. Развозили вскоре — в снег, в тьму — парочек: скучающих и влюбленных. У Яра был номер программы 15-й, предпоследний: негритята выстукивали чечотку, отщелкивая подошвами. Столики белели, шампанское зацветало — золотыми цепочками.

Зоя Ярцева, адвокат ужинали за сдвинутыми столиками в компании: Мэри Рундадьцева, выкрасившая волосы в рыжий цвет, разведенная жена, кокаинистка, картежница; миллионер Крушинский, с бородой ассирийской, под третьей опекой, с автомобилем оранжевым, виллой с плафонами, расписанными знаменитыми. Адвокат говорил тост:

за женщин, за искусство,—пластрон фрачной рубашки его выгибался; египетские папиросы обросли пушистым пеплом. Струны лились мучительно. Некая мечтательность, хмель проплывали.

В черной открытой машине ехали дальше: в Стрельну. Иней вспыхивал, елки под снегом стояли рождественские. Крушинский, выставив бороду, глядел туманно, не отрываясь, в черные порочные глаза; рука его коснулась мягкого колена: нога не дрогнула, Мэри глядела мимо, улыбаясь тайно. Зоя подставляла ветру худое напудренное лицо, усталые глаза прекрасные, вяло обведенные, распахнула шубку, жемчуг на шее матово дымился. В Стрельне сразу пахло сырým теплом, хрустящим запахом жаркого; черные поддевки суетились, меха, бобры, соболя спадали на их руки. Зеркало погружало в мутную глубину: плечи женщин, открытые, фраки, ногу в шелковом чулке, в лаковой туфельке. Вниз сходили медленно: к гротам. Розовый студент в зеленом тугом сюртуке посмотрел, пригубил из стаканчика приветственно. Парочки сидели в гротах, красное, зеленое, желтое—вспыхивало в рюмках, бокалах, стаканах. Румынка, в пестром платке, глядела вниз, со складкой на белой сливочной шее. Под пальмами пили кофе, кофейник плевался под стеклянную крышку; разминали на небе терпкий маслянистый ликер.

Адвокат утром выступал защитником в шумевшем процессе: дело об отравлении знаменитой королевы бриллиантов,—королева бриллиантов ка-

талась на скетинге, познакомилась, влюбилась: недавний учитель, с перхотным пробором, разодравшим липкие желтые волосы, отравил ее. На скетинге катались попрежнему: колесики шуршали ровно, асфальтовый лед серел, старичок выделявал па. Мэри из Стрельны звала дальше: возбужденные ликером, с бьющимися сердцами от черного кофе, ехали сквозь жемчужную ночь дальше. В ночном трактире играли два гармониста; Стеша, некрасивая, с глазами воспаленными, выступала, подбоченясь. Разсвет в колючем инее мутнел,—возвращались назад в город: курчавые тройки, любовь цыганская. В городе люд уж спешил; пахло хлебом; адвокат заезжал домой умыться, переменить сорочку—перед выступлением. Присяжные в буфете суда пили чай; подсудимого везли в суд: рыжебровый, веснушчатый, он глядел на все равнодушно—от кокаина отвыкал, томился. В последнем слове заявил вдруг, что королева бриллиантов была больна, его заразила—в суде всполошились, дело подлежало до следованию. Город уже служил, торговал; на ипподроме объезжали беговых лошадей, спицы американок сияли; в утренних кафе потертые молодые люди черкали беговую афишу пометками.

В деревнях трубы дымились, мужики ехали в лес, в суд. По Кронверкскому в черной карете проезжал князь: часовые у дворца каменели. Знаменитый мистер Крукс давал матч бокса: в мутной зале, со стеклянным потолком, запрыгал, за-

махал кожанними кулаками; противник тоже запрыгал, норовил ткнуть под ложечку; наконец, изловчился, ткнул; мистер Крукс упал, лежал восемь секунд—на восьмой вскочил, снова запрыгал, ударил противника в ухо: противник упал, лежал 13 секунд—мистер Крукс был победителем.

II

Адвокат, Мэри с курорта едва выбрались; вещи их швыряли; на вокзале сидели на вещах; с мерным топотом, под трубы, маршем торжественным ряды проходили, каски прокалывали небо. Собирались в поход, трубили, плакали, уходили. Артиллерия громыкала. Громом грознейшим раскатывались барабаны: сухим треском тревоги. На седьмой день, изнуренных, наконец, привез товарный в Москву.

В Москве площадь была забита подводами—лошадей метили, вымеряли, забирали; офицерам давали дорогу. Адвокат ехал на извозчике—навстречу проходили ряды со штыками; вечером, под вспыхивающей рекламой, читали последние телеграммы: русские войска двигались, враг бежал. Черная толпа по Тверской ползла взад-вперед; вывески вспыхивали, офицеров качали; в клубе обнимались, жали руки—за сдвинутым длинным столом, с остатками осетрины, салата—говорили речи. Под председа-

тельством генерала на экстренном закрытом совещании промышленники поклялись: все отдать на защиту страны — перевести фабрики, заводы на военную ногу, — требовали: заказов, авансов, ссуд. Фабрики задымились, окутанные дымом чернейшим, — лягушечья ткань полилась, свинцовые брелочки, латунные пуговицы, костыли прочнейшие — заколотилось, растянулось в машинах, аккуратно складывалось. Из деревень самарских, симбирских, рязанских, тамбовских — гнали, бабы выли, — мужики шли серьезные, трезвые: грузились. Лето было сушливое; поезда длиннейшие увозили: от полей родных, деревень, пахоты. Артиллерия уже стучала, распахивала новую пахоту. В казармах лежали вповалку, в дыму махорочном: утром выстраивали, гнали за город; за городом бегали, ложились, окапывались, стреляли. Зарево над землей далеко полыхало — шли болотами, по шоссе, — обозы растягивались; на обочинах присаживались, разматывали онучи, примачивали стертые ноги.

Поезд серый, санитарный, шел ровно; в поезде Мэри, в косыночке, ехала, распоряжалась, обедала с врачами, сестрами в вагоне-столовой. Тамбовских, рязанских, симбирских — привозили уже серые поезда назад: в белых чалмах, в марле, с культяпками, на костылях; грузили в вагоны трамваев, студенты сутились. Корявые, больные, перевязанные сидели у окон, смотрели: город сизел, мужчины с женщинами в мехах проезжали в санях,

окна магазинов светились; из трамваев перетаскивали в лазареты: в лазаретах лежали, писали письма, глазели в окна; нарядные дамы в косыночках страдали, писали письма на родину. Спустя месяц — бледные, небритые — выползали, ковыляли с костылями, мешали проходящим.

Другие шли на смену, лежали в окопах, свертывали собачьи ножки, стреляли, лезли на горы в снегах, втаскивали орудия на себе; сырые облака вздувались из расщелин тяжелыми брюхами, серый мышастый неприятель отступал, виднелся в долинах — уползал змеями обозов, бросал раненых; пленных гнали отарами. Рязанские, тамбовские шли дальше: по горам, долам, в снегу — завоевывать, побеждать.

Санитарный поезд пришел на станцию, стал, поднял флаг. На фронте было тихо, пока постреливали; мимо проходили, проходили поезда: в поездах пели песни, топили печурки, топали лошади, стояли на платформах укутанные орудия. Санитарный закусочный — наступления не предвиделось, неприятель отсиживался, занимался своими делами. Санитарный пока устраивал обеды для штабов. В санитарный приехали к обеду из штаба дивизии; повара пылали, в печах трещало, хрустящая индейка была коричневая, с корочкой; из аптеки по рецепту для медицинских нужд выдали спирт, коньяк — для выздоравливающих. Обедали в вагоне-столовой, Мери в

косыночке распоряжалась. Дивизионные — все brave, отличные щеголи выпили: за победу, за Россию, за женщин. Индейку подавали на подносе широченном; лежала коричневая, уверенная, в бумажных манжетках.

После обеда вышли пройтись. Небо синело, снежок поблескивал; вдруг сзади бухнуло; в небе распух белый дымок — серебряно-белая пичуга, еле видимая, пролетала; бухнуло спереди, сбоку — дымки размазались: в белых дымках серебряно-белая скользнула, сзади вдруг завизжало, стало визжать противно, смертно — земля раскололась, задымилась. Дивизионные бежали к блиндажам; в блиндажах, сырых, могильных, сидели, выжидали, сразу стало душно; земля еще раскололась — потом стало тихо: пичуга улетела. Небо было синее, снег бел; из дыма выносили: обрывки шинели, развороченное чрево, из которого синие внутренности лезли. Дивизионные обещали наказать за налег; перед вечером, погуляв, уехали. Мэри на ночь расплетала волосы, посмотрела в зеркало близко в черные свои глаза, засмеялась: полковник из дивизии был молод, смел, глядел дерзко. За окном гуковали маневренные паровозы; вдруг далеко во тьме бухнуло, прокатилось. Мэри подошла к окну, откинула занавеску: тьма всколыхнулась, снова ухнуло, заухало, тьма заполыхала; небо вспыхивало розовато — все постепенно перешло в вой, стало выть в ночи. По коридору прошли быстро; Мэри отодвинула дверь: врач, немолодой, будил, велел гото-

виться—принять к утру раненых. Артиллерия била; в поезде готовились. Мэри перед зеркалом поправляла косыночку: вдруг почувствовала, что все лишнее— и косыночка, и она сама.

К рассвету, по взрытой, тоскующей земле, началось наступление. Приказ из штаба фронта был получен три дня назад; три дня тайно сменяли части, передвигали батареи, в четыре часа утра приказ о наступлении был оглашен. Наступление начинал 34-й стрелковый. Полк вышел из окопов, развернулся цепью; впереди было взрытое поле, с жухлой ботвой картофельной; небо было серое, низко. Люди не выпались, зеленые, в бурых шинелях, с инеем на плечах, начали перебежку; окопы неприятеля шли по взгорью, ломались, укутанные кольями, проволокой. Артиллерия по кольям била с трех ночи: проволока перепуталась, торчала ежами вокруг волчьих ям; сбоку вдруг противно застучало, застучало с взгорья,— мужик симбирский, большебородый, сел, схватился руками за живот, другой лег бочком, уснул под стук. Цепи сбились, первая добежала до кольев, запуталась, рвала—по ней били; вторая набежала, полезла на первую, все перепуталось, с боков стучало методически,—с ревом, воем остатки лезли в окопы; из окопов торчали серые кепки, в ходах сообщения кипело, билось... Потом были: окопы с банками из-под консервов, рассыпанными патронами, флягами,— молодой офицер лежал на куче земли в подтяжках: подбородок у него был детский, чистый. Подтяжки

сняли, сняли рубаху, острым розовым соском лежал к небу. В штабе писали телеграмму о победе; поручиков Воскобойникова, Ратцеля, Мустафа-Оглы представляли к Георгию. Покойников сносили: в глиняной яме была вода, их складывали, вода мутилась; потом лежали плотно, доверху; батюшка покадил, продребезжал простуженным голоском; яму закопали.

Раненых к поезду привезли к вечеру: раненые были покорны, серьезные, бледны. В операционной, на белом столе, белый врач раскладывал пилочки, кипятил. Принесли рязанского, всего в поту, в синих жилах муки на лбу; под маской задышал часто, уснул; врач ногу развороченную, в клочьях, потрогал—из клочьев торчали белые куски кости,—врач лохмотья срезал, резал части, ровно, кость острой пилочкой стал пилить, перепилил,—все бросили в таз, закидали ватой: из ваты торчали жесткие желтые пальцы в мозолях; рязанского оставили жить, любить, трудиться. Мэри заперлась в купе, нюхала нашатырь, из нашатыря, дурноты вставляли: прожженная молодость, безлюбие, грех.

Поезд раненых отвез в прифронтовый город; в городе дул ветер, штабные гуляли по главной улице взад-вперед: сивые солдаты сбегали на мостовую, становились во фронт, бежали дальше. Офицеры приезжали с позиций: брились в парикмахерских, заходили в кафе, знакомились с девицами. В канцеляриях стучали машинки,—в санях, с лошадами шершавыми, с санитаром в желтом кожухе на козлах,

разъезжали по городу: с зелеными, красными крестиками, с вензелями на погонах. Уполномоченные принимали в кабинетах; казаки верхами прогоняли через город шпиона со связанными за спиною руками — высокого, спокойного, светлоусого. У врача был прием: опустив глаза, офицеры сидели в приемной, ждали очереди. Штабные вечером с дамами заходили в рестораны, в кинематографы. Город был без огней, окна занавешаны; на вокзалах гукали паровозы; улицы обрывались в поле: оттуда несло холодом, близким таяньем. В кинематографе показывали драму с участием знаменитых: дочь графа попала в руки шантажиста, любила, была обманута, брошена: было — большое лицо дочери графа: из начерченных ресниц капнула, поползла настоящая слеза.

Командующий фронтом днем проезжал в коляске с адъютантом, офицеры козыряли, — 34-й пехотный, пополненный, готовили к новому наступлению: выдавали хорошие порции, чтобы солдаты добрели. Когда солдаты подобрали, полк снова двинули в наступление.

Санитарный стоял на станции, дожидался; огней не было, артиллерия выла. Солдаты стояли в окопах; стреляли в тьму; под небом расцветали, лопались зеленоватым, красным ракеты. К трем ночи из тьмы поползло тончайшее облако; линии окопов зарделись кострами, солдаты сбились, бросились к воде, мочили маски, надевали; газ полз, полз, расползался. В деревне у костров стояли коровы, лошади

с мокрыми тряпками на мордах; солдаты под масками задыхались, багровели, рвали на себе ворот; к пяти вторая волна прошла. Разсветало; в воздухе пахло нежно, вишней; в окопах лежали, корчились, пена лезла из губ, глаза были выпучены. Поезд принимал отравленных, грузился; наутро шел быстро, погромыхая. Поля, поля в снегу, цепи обозов растягивались. Небо голубело, обещало март, близкую весну. Мэри ходила по поезду, воображала, как расскажет в Москве обо всем: о ночных боях, о войне, о крови.

В Москву приехали на пятый день, утром. Была масленица; магазины были закрыты; проезжали голубки с колокольцами; в домах пахло блинным чадом. Мэри с вокзала поехала домой; еще в шубке стала звонить по телефону: Зое, Нине Рогожиной. Обе приехали через час, нарядные, московские, оживленные. У Нины в доме был лазарет, — Зоя, наконец, победила: выступала с успехом, о ней писали. Вечером, в 7, звала к себе на блины: будут все, рады будут увидеть, послушать о войне. Скоро обе уехали. Мэри принимала ванну, легла в теплую воду, вытянулась, закрыв глаза; позади были — кровь, война, смерть; здесь встретила жизнь, милая, знакомая, московская. В пять пришла маникюрша, делала ногти, водила замшевой подушечкой, рассказывала новости, сплетни; в шесть пришел парикмахер, Жозеф: прежний, печальный: забирали на военную службу,

просил похлопотать. Три дамы за него уже хлопотали—был незаменим. Мэри обещала горячо—хлопотать, спросила фамилию: М-сье Жозефа звали Петр Иванович Огуречников—это ее колынуло.

В семь, на резвом извозчике, под звяканье сбруи, она ехала к Нине. Москва была прежняя: талая; мальчишки продавали мимозы, желто-пыльные, в иодоформе. У Нины в гостиной, с бюстом коненковским, с розово-аляповатыми цветами Кончаловского в смуглой раме—в креслице сидел, вытянув ноги, Крушинский, подтощавший: желтый автомобиль его сменялся постепенно: сначала лихачами, потом резвыми извозчиками, потом просто ваньками—сивая кобыленка плелась, как пошало, в низких санях сидел в мягкой мерлушковой шапке, с крашеной бородой—покровитель художников. За обедом профессор-богослов поднимал тост за Россию Богородичную,—все поднялись, чокнулись. Война затягивалась, русские войска отступали: раздетые, голодные, безоружные. Профессор поливал блин, закладывал сметаны, семгу—закатывал, говорил, поднимая вилку, о Платоне Каратаеве. Нина после обеда повела показывать лазарет: лазарет был в зале с лепным потолком. Раненые лежали, сидели в холщевых халатах, бродили с костылями; вошли всей толпой—во фраках, в открытых платьях—запах шипра, келькфлера пронзил иодоформ,—раненые поднимались, поворачивали головы с черными глазами, небритыми подбородками. Кофе после осмотра пили в го-

стиной—адвокат убедительно, жестом округлым, доказывал, что проливы России необходимы—рисовал в воздухе пальцем: Черное море, проливы. Кофе в чашечках дымилось; мимозы в высоких вазах сыпали желтую пыль. Нина собрала дам вокруг, рассказала таинственно, что в Лефортове появился ясновидящий: предсказал всю судьбу, напомнил из прошлого даже то, что забылось. Дамы загорелись, решили наутро поехать,—Крушинский обещал машину из Земского гаража.

На другой день, под солнцем февральским, ехали: Мэри, Нина, Крушинский. Раненые из лазаретов выползали на солнце; афиши на стенах взывали о военном займе: в Благородном собрании в пользу инвалидов, раненых—жертв войны—было аллегри: за серебряными самоварами дамы улыбались неживыми прическами работы Жанов, Жозефов, Базилей, красными губами, вырезом с мягкой межой. Солдаты с фляжками, с сумками перегордели дорогу: шли на вокзал с терпким духом пота, овчины, сапог. Автомобиль из Земского гаража с красным крестом ехал дальше: в Лефортово. В снегу, в серебре еще показались сады Лефорта, Военная гошпиталь с Сенекой, с чашей в руке и змеей вокруг палки, у входа: ясновидящий жил у Немецкого кладбища.

Дамы поднялись по скрипучей лесенке; в низких комнатах было жарко, в окнах на вате лежала пестрая шерсть. Мэри первой вошла в соседнюю комнату, поклонилась. Ясновидящий предложил сесть

на стул; на пустом столе перед ним лежал костяной шарик. У ясновидящего голова была выбрита, проросла густым синеватым волосом; губы под черными усами были красные: подбородок синий, глаза магнетические. Мэри села напротив—ясновидящий взял ее за руку, стал смотреть на шарик, сосредоточился, просил задавать вопросы. Мэри спросила, что ее ожидает.—Путешествие и неожиданная встреча.—Чем кончится война?—Поражением.—Что ожидает Россию?—Распад, потом соединение, снова распад и соединение, уже навсегда. Все было необычайно, туманно-магнетические глаза блестили. Мэри, Нина возвращались задумчивые, Крушинский был оживлен—ясновидящий обещал ему скорую удачу, богатство: без денег изнывал, в Стрельне еще от одних опечных денег до других тянул счет. В аллегри колеса вертелись, бумажки-пустышки развевались,—певцы, блистая выгнутой грудью, пели,—толпа двигалась, жаркая, липкая, пила, путалась в серпантине, багровела лицами; счастливец, выигравшего корову, качали. Из аллегри везли дальше: в кабаре, с стеклянным потолком, освещенным: внизу сидели, задирали головы—наверху танцевали в одних газовых юбочках... Везли дальше, к Трубной,—лихачи стояли рядками, лошади в зеленых пополах, матовые двери в воротах чуть светились: тайно, призывно, томительно.

Полки: 13, 24, 7 стрелковые сползали: обмерзшие, беззащитные, разбитые; позади были снега,

ущелья, бои. Раненых, обмороженных бросали. В деревнях ловили евреев — в лапсердаках, бледных, запуганных: обвиняли в шпионаже; утром двое казаков верхами гнали к околице. Измена была всюду — от измены все гибло, катилось вниз, — солдаты знали, что все от измены. Обозы полков перехватили, шли без обозов, дни были лютые: в тумане, в инее. Прапорщика Колпакова везли в двуколке: в животе был шрапнельный осколок. Прапорщика трясло, бросало — синий, закусив губы, он стонал, кричал, затихал; на привалах рану перевязывали, липкий от пота, он обмирал, скрипел зубами; к вечеру третьего дня, после тридцативерстного перехода, рана начала пахнуть; фельдшер разматывал бинт: рана по краям была темная, черноватая; фельдшер успокоил, перевязал, отошел, перекрестился. Черное пятно за ночь переползло с живота под сосок левой груди, — прапорщик Колпаков трясся, мертвел, плакал. На пятый день, в галицийской деревушке, сожженной, его хоронили; песок, глина желтели; в досчатом гробу лежал — с синим лицом, синими губами, прилизанными височками: успокоенный. В чемодане его ехали дальше: бритва, папаха, рубаха с меткою В, томик Блока, три письма: недописанных. Утром священник кадил: в длинных рвах глинистых лежали с голыми пятками — сапоги снимали, русоволосые, белокурые: прапорщики армейские, мужики костромские, переправившиеся в иную губернию: не голодающую.

Полки откатывались, редели, таяли; из далекой Сибири гнали пополнение: пополнение, мелкорослое, ехало в товарных вагонах, топило печурки, бегало на станциях за кипятком, училось, гналось в бой: в бою сразу терялось, лезло кучами, гибло по-овечьи. В Петербурге, в министерстве, звякали шпорами, докладывали, заседали, приказывали, подчинялись; военный министр, коротко-остриженный, листал бумаги пухлой рукой, ставил пометки, — адъютант, наклонившись сзади, бумаги подкладывал. Министр приказывал: наладить сообщение, отправить довольствие, — все шло не туда, опаздывало, не годилось. Евреев вешали: за все — за измену, за снаряды, за кутерьму. Старика-еврея сняли с мельницы: отряд проходил, мельница махала крыльями — по отряду стреляли; на третий день старика нашли: у старика убили двух сыновей, — дикий, шалый шел за солдатами; его вывели за околицу, солдат полез на корявую ветлу, веревку долго прилаживал. Еврей стоял покорный, понурый; глазки его вдруг заблистали, губы зашептали: старый Адонаи встал за ветлою, простил, принял блудного столетнего сына. Солдат накинул петлю, подставил пенек, — потом пенек пнул, старик повис, дернулся, изо рта его полезла пена.

Министр после докладов отдыхал, жена наливала чай: в дубовой столовой. Министр после отдыха собирал бумаги в портфель, просматривал — перед докладом. Зеленая машина у входа сдержанно клохотала, покатила по вечеряющему Петербургу.

Фонари зажигались гнойно-зеленовато; улицы еще сизели; шоффер вез уверенно: перед докладом—к Фаддею Ивановичу Фаддей Иванович жил в особнячке, на Васильевском; у особнячка, невзрачного, деревянного, стояла карета. Министр поднялся, робея, всегда уверенный: плотный, в мундире, с синим широким затылком. В столовой пахло цветами, гиацинты отцветали, ржавели; апельсины рыжели в вазе. Сестрица Симушка, великопостная, смиренно поклонилась. Фаддей Иванович шел из кабинета: в шелковой рубахе перепоясанной, в лаковых сапогах. Дама в черном проскользнула, прошуршала, пахнула духами. Министр за Фаддеем Ивановичем прошел в кабинет: в кабинете иконы, старинные, закопченные под восковым, алым светом лампад, смугтели: на столе стоял портрет в бархатной раме: сероглазый, обожаемый, с пробором, смотрел ласково. Фаддей Иванович сел в кресло, в кресло усадил: глаза у него были раскосые, хитрые, бороденка клинушком. Министр просил наставления, вынул бумаги, показывал,—Фаддей Иванович смотрел одним глазом, губами жевал: говорил странно, решительно: как быть. Как говорил—так все поворачивалось: день, судьба, история, Россия. Министр уезжал успокоенный,—записочку с каракулями держал на сердце, в бумажнике крокодиловом. Ехал дальше: над Невой туман мреял; машина в сырь, в тьму гудела медленно, похоронно; дворцы вставали ровными рядами окон: часовые стыли; по красным дорожкам министр подни-

мался безшумно; паркеты, мрамор, золото рам блистали.

В госпитале ночью раненые сошлись: трое присели на кровать к выздоравливающему—фейерверкеру Федюку. Федюк лежал серьезный, бородатый, смиренноглазый: ночью в палате говорили об измене. Измена была всюду—раненые шептались, крестились, поминали Рассею. Рассея раскидывалась: полями предмартовскими, в снегу, путями дольными—в Сибирь, в Азию, в степи, проселками, черными деревнями: в деревнях тоже шептались—про измену. Русь ночная лежала во тьме, зарницы полыхали, поезда шли, везли: скот, людей, сено, орудия. Раненые в лазаретах бредили, стонали, умирали, Артиллерия была—по 13-му стрелковому день и всю ночь—наутро началось наступление. Неприятельские цепи раскидывались; пока били по цепям, колонна обходила далеко: к вечеру означился прорыв. Связь между частями утратилась. Части отступали назад, без дороги. Из штаба 13-му предписано было ночью оставить позиции, отступить. Ночью без огней полк вылез из окопов, свернулся, начал отступление; шли всю ночь, ракеты лопались, артиллерия бухала: прикрывала отступление. К утру вышли к болоту, обозы увязли. Пока бились с обозами, слева, из-за леска, по обозам стала бить артиллерия: полк обошли, отступление отрезали. На военном совете постановили: пробиваться на соединение. Полк голодный, безсонный. стал пробиваться в обход, разстроился, сбился, увяз,

разбрелся по лесам, топям, болотам. Через пять дней пристали к разным частям солдаты безумные, серолицые, мокрые. Их накормили, одели, дали выпастся. Отступление продолжалось.

В пользу жертв войны, в белом зале, был чай, танго. Съезжались к пяти: Крушинский, Мэри, адвокат. Белели: накрахмаленные скатерти на столиках, вырезы фраков, в красный ковер пушистый нога вникала вкрадчиво; плечи розовели матовостью жемчужной. Лакеи на подносиках разносили: кофе, печенья. Дух Англии витал, делал руку в сияющей манжете суше: привыкшей к теннису, к спорту, — руку расслабленную, с ногтями миндалевидными. Танго начиналось: юноша, напудренный, с синими тенями в впадинах, женщина в платье открытом, льющемся шелком, шифоном, — приникая, сближаясь, замирая, цепenea, сковываясь судорогой; наклонялся губами над ртом, звал, мучил, близился, уклонялся. Так, цепenea, прошли по сцене, — наконец, запрокинул ее на руку, замершую, обезсилившую. Мужчины заплодировали, женщины щурились, смотрели в лорнеты, — легкий запах духов, табака, пудры плыл. Зоя выступала, читала Бальмонта, сжимала худые руки, с голосом звенящим, впадиной ключицы, глазами прекрасными. Чай был удачен, — для жертв войны очищалось: на махорку, портянки, бумагу.

Адвокат после чая звал в ночное кафе: в кафе выступали поэты. Ехали на извозчиках сквозь Мо-

скву капельную, мартовскую. В высоких пролетках было непривычно свежо, в тумане светились желтые, ярые аптечные шары. Снег лежал бурый, кучами, прохожие проваливались в лужи,—в кафе поэтов было дымно. Публика сидела, дожидалась скандала,—на желтых стенах, пестро размалеванных, блесстел пот. Поэты в голубых, оранжевых кофтах прогуливались, как борцы в антракте. В оранжевой кофте вылез, наконец, на эстраду, прорычал, обругал публику; публика аплодировала довольно. Поэт продолжал рычать, ругал, потрясал кулаком: девушка, сероглазая, уже с карминной верхней губкой, глядела на него восхищенно, комкала платок.

Нина у выхода шепнула Мэри, чтобы задержалась, уедут вместе: повезла к себе. Квартиру пустую, роскошную, холостую, открыла английским ключом. В маленькой гостиной—принесла коньяк, фрукты, поставила на пол, села с Мэри на медвежью шкуру. Отпили коньяку, Нина в губах держа красную виноградину, потянулась с ней к Мэри, вдруг опрокинула ее на спину, стиснула, припала к губам, размыкала их, жалила, рвала с нее платье; к голой припала груди.

Светло-зеленое, лягушечье, лилось, лилось, смывало визитки, сермяги, заливало землю. М-сье Жозефа удалось устроить—хоть тоже в светло-зеленом, но бегал с саквояжиком причесывать—числился санитаром при лазарете. Санитаром при лазарете

устроили Жоржа Радунского. Адвокат тоже милитаризовался: вдвоем купили завод, где тоже для войны носились привода, станки обтачивали ручки костылей, палки для носилок. Рабочим объявили— считаются военными, работать ночью и днем: иначе в окопы. Заводы гудели, сало стекало в жолоба, светленькие пульки падали под стекло, отвешивались, прыгали в желобки. Адвокат приезжал утром, на фуражке его был красный крестик. С красными крестиками, со шпорами ходили Медынцев, Знаменский, Кнорре—ездили на фронт в поездах, заведывали банями, летучками. Летучки стояли в фольварках—все было хозяйственно: лошади, денщики, повара. Помещики управляли, ездили с докладами, катались верхом, играли в преферанс—были осени прозрачные, в перелесках буковых; зимы теплые—под треск печурок; впереди на взгорье лежали окопы: заброшенные, с водою; тяжелое чрево висело над леском, в корзиночке сидел человек, наблюдал.

С фронта приезжали в Москву: на неделю—пожить, встряхнуться, щегольнуть выправкой, обветренным лицом. В клубе, между столиков с ужинающими, между розовых лысин, розовых плеч, проходили щеголевато: Медынцев, Знаменский вместе с Мэри, Виргинией Кнорре, полнобедрой, бездетной; из клуба ехали: везла Мэри. На извозчиках спускались бульварами: бульвары подсыхали: в сухих ветках, под мартовским ветром. На Трубной, голой, бли-

стающей, свернули в переулок, ехали мимо лавок татарских; у ворот, кисло пахнувших, вылезли, пробирались по грязи, по черной лестнице со спичками взбирались долго: на четвертом этаже отворил китаец, Мэри узнал—впустил. В конце коридора, в большой комнате, на полу, на грязных тюфяках, лежали, улыбались блаженно, томились, втягивали серый дым опия: Крушинский, другие—знакомые по вернисажам, ресторанам, премьерам.

Комета всплыла без четверти час ночи, марта 27-го: жемчужно-алая, обвисшая хвостом, стала: над окопами, полями. Солдаты вылезли, глядели, крестились. Комета стояла до утра, пока ободняло; в сиреновом тумане таяла, меркла, исчезла. Ко дворцу депутаты спешили: подходили с портфелями; подъезжали на извозчиках. В кулуарах, залах двухсветных совещались, гудели, постановляли требовать,—автомобиль министра, зелено-серый, сворачивал от Аничкова моста: в портфеле министра лежала бумага—депутаты распускались, во дворце будет летний ремонт, реставрация.

В новой премьере Зоя Ярцева играла, о ней снова писали,—бледная от весны, мучительно-близкая, отчужденная, изменчивая, актера Русланова терзала, приближала, отталкивала: ночи безумия, страсти сменялись днями враждебными, отчужденными. Русланов терзался, сгорал, ревновал. На пятой неделе поста он шел с ней вдоль по Пречистенскому; деревья набухали почками; лед прошел. Измученный,

неверящий, он смотрел сбоку на легкий профиль, улыбку, к кому то обращенную: любовь, ненависть, ревность вскипали в нем. У храма Спасителя, возле каменной набережной, спросил ее, кого она любит. Зоя, усмехаясь, ответила — не его, кого — не знает сама. Он схватил ее за руку, приблизил глаза, задышал часто, — она оттолкнула его, пошла прочь, крикнула, что любит другого. Минуту он стоял, смотрел вслед, затем нагнал ее в два прыжка, ударил ножом в бок: Зоя рванулась, крикнула, опустилась. Встав на колени, он целовал ее руки, мертвеющее лицо, молил о прощении — бок ее теплел, намокал. Через день в часовне она лежала — белая, с точеным носом, все узнавшая; из газет пришли фотографии, шипели магнием, щелкали затворами. В газетах писалось об убийстве сенсационном.

Рязанские, самарские сидели в окопах, забытые, голодные; министра сменили, ездил к Фаддею Иванычу другой — среброволосый, статный, с носом орлиным; Фаддей Иваныч на бумагах выводил караули, — над Петербургом, Невой, белыми ночами, дворцами, стражей, министрами, депутатами — стоял конь, поднявшийся на дыбы — медный, с всадником медным, дородным, Россию на финских берегах утвердившим. Казак, вихрастый, с папиросных коробок глядел, тоже Россию утверждал. К лету в штабах готовились: развертывали дивизии, гнали поезда — зеленые колонны проходили, залезали в землю. Дождя не было, лето было сушливым — кровь колосьев не выгоняла.

III

В улицах мартовских, чернее черни, на машине черной, летящей, адвокат летел в ночь: управлять. Адвокаты управляли, совещались, выпускали воззвания. Из черной земли, разверзшейся от буханья пушек, неправды, обид, вшей, унижения столетнего, взбухало, разверзлось на Невском, на тали февральской, — черные людишки бежали, падали, ложились за сугробы. У моста над Невой почерневшей, в сале, пристава щеголеватого, в серой шинели, стащили с коня, голову ему проломили, — конные стреляли, из толпы ответили, бросали камни.

На тали Революция разверзлась, полой водой смывала: сановников, стриженных под бобрик. В Москве по Гнездниковскому черному проходили ночью: отрядом — городовые с постов снимались, уходили в вечность. Утром по Арбату пролетел грузовик, солдаты стояли с штыками, с флагом красным. К вечеру дня другого по Тверской вниз лезла толпа: штатских останавливали, пальто задирали, — под пальто были: синие штаны. Пристава под енотом узнали, енота содрали; под енотом был: сам бравый 5-го участка. Баба подошла, плюнула в бороду Александра III, лопатой. Шли вниз присягать: портняжки в красных шапках интендантских вприпрыжку — землистые, гороховолицы.

На фронте все сидели, ждали замирения—адвокаты в Москве совещались, постановляли: войну продолжать. Ночью у памятников, над черными глыбами митингов, появлялись таинственные, требовали войну прекратить. Молодые люди, возвращавшиеся из клуба, задерживали их, отводили. В черной ночи, вдоль черных бульваров, на которых спало воронье, адвокат летел в ночь на заседание.

Санитарный шел экстренным: в санитарном ехали—Мэри, Знаменский, три оратора: на станции ораторы вылезали, говорили речи. Солдаты, в опорах, скуластые, большебородые, окружали; ораторы говорили, что с миром нужно ждать,—поезд шел дальше, наконец встал; в автомобиле новеньком ехали дальше: по большаку, по проселкам, по апрельской сохнувшей грязи. Солдаты из мокрых окопов вылезали, слушали хмуро; послушав, лезли назад в окопы,—машина возвращалась в штаб дивизии к завтраку.

Нина Рогожина в Москве устраивала: вечер в пользу политических, освобожденных. Политических,—серых, обросших,—проводжали вниз по Тверской—публика бросала шапки, дамы кидали цветы. Концерт в пользу политических состоялся: в голубой зале. Голубая была декорирована мило: красными флажками,—был сперва концерт лучших сил; вино потихоньку—в кувшинах, квасоподобное. Марсельезу заиграли—мужчины в смокингах, дамы с плечами открытыми поднялись; потом рассказчик рассказывал анекдоты, пел бас белобрысый, с вылезавшей

грудью полированной, цымбалист играл по струнам молоточками. Нина улыбалась из окошечка мавританского, с брюлловскими плечами, в открытом платье. В пользу политических за все страдания—платили щедро: Крушинский блеснул широко: кое-какие новые открывались для него перспективы.

Земля подсыхала. Апрель над полями мягко, нежнейше веял: из-под сухих травинок вылезала зеленая мелочь, в оврагах—подснежники. Над усадьбами помещичьими—пепелищами—трубы торчали в небо: мужики, догромив, готовились—принять великий дар по праву испокону веков—всю землю черную, родную, расейскую—на вечное владение мужицкое. Барина Скородумова, над тремя тысячами десятинами коптевшего, набивавшего гильзы, выжидавшего мартовский ток,—в самый ток, когда ходили с мукою любовною, пыжась, тетерева вокруг тетеревих и топтали их с яростью,—в самый ток барина Скородумова справили: на телеге, с чемоданом с наклейками заграничными тряся,—дым над усадьбой стоял черный; дым стоял черный над пепелищами, гнездами помещичьими, Русью помещичьей. Зори были кровавы, журавли прилетели, кричали трубным звуком. Под зарею кровавою, ночи, дни, солдаты все сидели: ждали мира, отпуска, дома. Мир обещали, отпуск тоже—пока велели сидеть. Солдаты повылезли из окопов, с неприятелем мирились, заявили—сидеть больше не будут, воевать не хотят.

По Арбату проходили с музыкой, под солнцем, с черепами на рукавах: драться, умирять; на штыках были цветы. Женщины смотрели вслед: гоинам,— были грустны на свидании. Батальон смерти в 3 часа утра готовился: к атаке. Пехотный полк должен был поддержать, развить наступление. В батальоне юноши бессонными глазами встречали: первое мрянье, зарю, чешую перламутровых, утренних облаков. Когда чешую смыло, небо проступило голубоватое, батальон вылез, начал перебежку. Спереди полыхнуло, в воздухе провизжало, разорвалось сзади. Под противный стук пулеметов батальон пробегал, ложился, стрелял,— третью цепь: пехотный полк—погнались вслед. Полк из окопов не вылез, решил обсудить на митинге. Офицера кричавшего, вынудившего револьвер, сзади ударили по затылку прикладом—офицер клонился, падал. С ревом первая цепь бежала на окопы, таяла,—с боков, спереди стучало противно, смертно. Полк постановил: в наступление не идти, из окопов не вылезать. Юнкера Роговина, студента 2-го курса естественного, бежавшего со штыком наперевес, по глазам вдруг хлестнуло,—бежал дальше, земля внезапно пошла под откос, небо ложилось внизу—он раскатился с откоса, упал, схватился за глаза: глаза видели ладонь в земле, близко, со всеми линиями,—ладонью коснулся темени, ладонь стала алая, липкая; все вытирал о землю—и глаза заливало липкое.

Пехотный полк шел через день без пути—по домам, шалый, дикий, вшивый, ободранный. Небо было июньское, линючее: под небом бледно-синим, выцветшим, кротким, как детский глаз—все были правы. Полк окружили к ночи, зачинщиков схватили: татарина Гассана-Мухмета Агишева, рядового Скобелева. Татарина допрашивали: он ли убил офицера, приказывавшего идти в наступление. Татарин, три года сидевший в окопах, трахомный, красновекий, дергал носиком, отвечал:—Моя мало ударил... по затылкам ударил,—объяснял, что идти в наступление нельзя, когда весь полк против и когда объявлено замирение: офицер горячился, грозил револьвером, ругал всех—он его стукнул. Рядовой Скобелев, сероглазый, спокойный, объявил: солдаты драться устали, пусть дадут мир настоящий.

Гассан-Мухмет ночью лежал у костра, смотрел на огонь, шмургал носиком, мурлыкал песню. Пятеро гассанят ждали его за Казанью—все мурлыкал, пока не уснул. Легкой летней ночью—легкие, теплые сны. За часом тьмы—мреянье перламутровое: ветерок, свист птицы, петух дальний. Перламутрово наливалось, птица пикнула, проснулась,—Гассана-Мухмета толкнули, велели вставать, повели к опушке: за опушкой овсы, чуть зыбью тронутые. Гассана-Мухмета поставили к дереву, глаза завязали; Гассан-Мухмет узнал: тишину, покой, наконец,—рай татарский разверзся, принял его за все муки трехлетние.

В городе знойном, семечками пролущенном, в пыли колкой, митинги чернели, раненые в халатах мышинных толпились, — над ранеными, над котелками, над соломенными шляпами воздевались руки, говорили: на скверах, на площадях, на Калужской, на Страстной, на Лефортовском плаце, — мальчишки висли на столбах, сдирали картузы, всем кричали ура. Герои войны георгиевские снимались на бульваре: один сидя, другой стоя, руку положив на плечо — позади были горы холстяные, пейзаж крымский.

За летом август, осень зардевали, — поезд санитарный стоял в беленьком городишке: в городишке, с купами, с грушами, с замком магнатским, с речугой под мостом подъемным пересыхающей, — под вечер, по главной, Дворянской, прогуливались штабные: шпоры хрустели серебряно, аксельбанты белели. Командующий, с мешками желтыми под глазами, в синих штанах обвисших, шел с палкой на прогулку: позади были донесения, телеграммы, разговоры по прямым проводам, доклады, приказы, происки, самолюбия. В парке офицеры вскакивали со скамеек, девицы сидели притихшие. Через окопы, из окопа в окоп, где солдаты сидели, томились, ждали приказа разойтись, по городам, с площади на площадь, по митингам, по фабрикам, мастерским — шла Смута. Воронье осеннее кричало о Смуте, летело низко: перед заморозками, близким сентябрем. Сентябрь оседал туманами, хмарью, — солдаты сиде-

ли хмурые, затаенные; затаенное было: в днях сирых, во взгляде черном исподлобья,

В ночь на 17-е полк 31-й приказа сняться не выполнил: вышел из окопов, обложил белый городок, приказал сдаться. К полку примкнула саперная, — дивизион артиллерийский верный встал на защиту — занял горку: в семь утра первый снаряд пролетел через город, — 31-й начал наступление. Санитарный на вокзале выдвинули — в санитарный под прикрытием дивизиона грузились штабные, — в пять вечера, когда 31-й вошел в город, в штабе бумаги валялись изорванные, все было смято, телефоны сорваны. Санитарный с штабными шел, шел, — сивые поля, голые перелески, туманы, пни проходили мимо. В час ночи санитарный пришел на узловую. Паровоз отцепили, сменяли. Узловая была забита солдатами; корявые, вшивые — возвращались в губернии рязанские, вологодские, костромские: садиться на землю народную. Санитарный ночью толкнули, перегнали на пятый запасный; к утру пути были забиты новыми составами: товарными, воинскими. Штабные пошли требовать отправки, — комендант обещал: отправят в два часа дня. В два, в три, в пять, в восемь поезда не отправили. С оружием, злые, штабные пошли: требовать, объясняться, приказывать. Вместо коменданта сидел другой, хмурый, небритый; выслушал, заявил — поезд дальше не пойдет, — штабные зашумели, зазвякали, — хмурый показал телеграмму: поезд № 34а дальше не пропускать.

В городе хмурый день, октябрьский, за ночью, хлестаемой из переулков с крыш, с чердаков, — выполз, повис стеганным одеялом над домами мертвыми. По коридорам, со стуком, рота за ротой проходили: строились, спускались вниз, расходились: на боевые посты: к Смоленскому, к Zubову, к Красной. В доме розовом тоже писали, проходили — бледные, хмурые, с глазами воспаленными; кричали в полевые телефоны; на автомобилях сквозь ночь октябрьскую, черную, тайную, летели: часовой из тьмы гаркнет — свой-ли, чужой, — дальше вдоль бульваров, во тьму: с револьвером в руке. Ночь полыхала, рдяное на все небо протягивалось, дрожало зыбко: дом догорал, не тушимый.

В черной ночи, в крови, в муке, из годов метельных, войны, вшей, обид, упований, из банкетов, тюрем, выборов, тостов — хмурой крупною предзимней несомый — вставал Октябрь.

Март. 1922,
Москва.

ГОЛУБОЕ И ЖЕЛТОЕ

I

Куртка протертая, ворот открытый на смуглой жилистой шее, ноги кривые чуть; блеснет стеклом тугого пенсне в одном углу, в другом стекло вспыхнет—утром ходит Колесников в рубке, руки в карманы, лоб потрет, волосы черные, с проседью, поерошит: диктует дальше. В рубке холстяной белый свет, за продольными окнами неспешно плывут буреломы, проходит камень—гранит и песчаник: слюдянисто-жемчужный блеск. Днем—незакатное солнце, отмели лисьи, синий пепел—гор, сопки, просторов. Вечерами, прогоркнув, жирно садится в лиловую воду широкое солнце: перья рыжие разбрасает; и ночь: светляковая, лунная. Плышет пароход в луну, в самое мертвое недра, и глухо вторит другой пароход: тяжелый, надзвездный,—проходит ущельями.

За день набродится Колесников по рубке, волосы наерошит, диктует—стрекочет машинка под сухими белыми пальцами: Вера Ивановна—машинистка: лицо белое, спокойное, черные волосы не блестящие, руки худые в запястьях, темный пушок над

верхней губою: ошибутся сухие пальцы—дрогнет губа, приподнимется—зубы ровные, белые,—эта покойна, верна, замкнута: вся—одно с машинкой стрелочущей, замолчала машинка—и все в глубь ушло: слова, телеграммы, шифры—в глаза опущенные. Подойдет к дверям Греффе: худенький, смуглый, папка секретарская, бумаги стопочкой, как девушка заалеет влюбленно, когда скажет Колесников доверчиво, скупо:—Надо послать телеграмму,—в рубке трое лишь их, связанных одною порукою, еще десятков верных, крепкоскулых латышей внизу, в трюме, в жару машинном—на сотни верст меж кручей, тайги, буреломов.

Много в тайге зверья недружного: бродит волчьем, люди крепкие, погоны офицерские—не хотят примириться, все бродят, хоронятся: сами в силок попадут, или пристрелят неосторожного. Днем зелена тайга, смолиста, дым стелет мутно—горит. К ночи глохнет, к ночи сизый туман плывет прядьми из ущелий. Вечерами свежую раскидывает волну пароход; вечерами из трюма, из машинного жара, выходят люди наверх, стоят у перилец—тяжело наползают туманные громады, хребты в дыму сигарном; простором степным летит ночная птица.

Вечерами выходит Вера Ивановна, лицо смутное, в глаза словно канули—телеграммы, шифры, приказы—глаза усталые, женские, сухие пальцы бегут привычно—перебирают платок, и плечи понурые чуть, как у всех женщин понуры вечерами в

просторах. За день находился по рубке Колесников, диктовал, подписывал бумаги, посылал телеграммы, пил крепкий чай; теперь наверх взберется по лесенке, где в будке стоит штурвальный, ушел в таежную бороду: путь в ночи видит — по струям голубым, по косам мутно-опаловым. Ходит Колесников по мостику один, как всегда был в жизни один; руки в карманы глубоко запрятал; Греффе к нему поднимется, ходят подле, плечо о плечо.

Говорит Колесников: голос глухой, вечерний.

— Слушайте, Греффе, надо послать телеграмму... нужно на копиях устроить митинг шахтерам. Узнайте у капитана, когда приходит в копи пароход.

Хорошо, когда острые глаза, для всех чужие, холодные, глядят утомленно, доверчиво, и доверчиво касается рука рукава. Можно летать по узеньким лестницам, диктовать в пустынной рубке срочную телеграмму, и от этого пахнет немного — соленой тревогой, опасностью, жизнью необычайной.

Говорит Греффе:

— Вы знаете, Медынцева, я бы умер за него, если было бы нужно. Ведь это совсем не страшно умереть, когда знаешь, что все друг за друга...

Глаза темные, вечерние, верхняя губа с пушком приподнялась чуть; голос спокойный, грудной:

— Конечно, Греффе. Диктуйте дальше, — и губы повторяют пальцам вослед: — Срочная. Литера А —, губы, которые так сладко вобрать в свои со всем их нежным пушком, пока не станут тяжелыми вовсе

эта темная голова, белая покойная шея в складках платка.

Говорит еще Греффе:

— Завтра вечером митинг на копиях. Будут факелы, черные шахтеры... Правда, ведь это совсем, совсем необычайно! Я понимаю теперь, что вовсе не надо личной жизни, можно жить только всем этим...

— Вероятно, можно, Греффе, — вечерние, глаза глядят поверх строк.

Уже отстукали пальцы ворох белых бумаг, убежал наверх Греффе, тяжело содрогается пароход, оседает таежная ночь. Люди на палубе никнут зябко, бьют, бьют свежо колеса. Хребты, обвалы, сизая гряда за равниною. Люди зябкие, настороженные, — вот Эгле пройдет, этот свой — замкнутый, латыш белоскулый. Уже вернулся в свою каюту Колесников, смутный свет за белою занавескою: верно, читает, сняв тугое пенснэ, приблизив к глазам близоруким книгу.

За хребтами сизыми — Азия, за хребтами сизыми — день. Всползает по склонам, цепляется за кусты — новый день, в шапке рыжей, мохнатой, патлами рыжими означает рассвет. И ночью, перед рассветом, когда спадают сытые звезды, проходит матрос мимо женщины: глаза серые, даже в тьме серые, ворот открытый, голова бритая, сильный зверь. Вдоль перил не спеша проходит, окунулись серые глаза в женские — миг ли, минуту ли, — дальше прошел, и прошел ли — скользнул в сумрак. Глядят темные

глаза мимо, только дрогнула вдруг верхняя губа с пушком, приподнялась; пальцы сухие комкают платок, — почему только больно стало от стука, там, где ходит тяжелое сердце.

А уже катится рогом вниз набухший месяц, зарыжели склоны, новый восходит день.

II

Выходят наутро матросы — новою вахтой. Уже сменила в стеклянной клетке одна борода таежная другую, новый штурвальный стоит у руля, свежий день примечает. Клешнями врозь, висит над водой кряжистый якорь, лежат матросы на сонных канатах. Руки под голову, глазами серыми к небу, лежит матрос. Ворот открыт, шея в смуглом загаре, лежит, глядит покойно, только стрелка меж темных бровей распухнет, сузится — бродит мысль.

Приглядывается к нему матрос патлатый — глазки малые, медвежьи, в бороде запутались: на голову обритую глядит, на руки глядит — огрубели хоть — белые руки, с ногтями округлыми. Говорит матрос:

— Ох, парень, много в тебе силы звериной. Бабам ты люб, сладок для баб ты.

Усмехается тот, глядит на небо, на облачко-ракушку, только тенью лицо вдруг подернулось — на миг один. Приближает матрос путаную бороду, говорит:

— Не наш ты зверь, вот уж не наш, и повадка не наша у тебя. Гляди уже, брат, вижу я — к черненькой подбираешься, к комиссарской... Смотри, парень, ой, смотри, комиссар зверь важный...

— Ладно уж, и я зверь сторожкий.

Блестит глазом серым, слова матросские говорит, а сам и не матрос ровно, не те слова, не голосом тем произносит.

И выше все, выше шапка рыжая, стоит солнце монахом лохматым, в лохмах рыжих пчелы золотые играют, рыба блеснет ребром полосатым, в глубь уйдет. Играет на заре максун тяжелый, таймень кувыркается, идет пароход в рдяный холодный горн. Холодком утренним туманится голова, от холодка утреннего легко плывет марево — голубое и желтое, щемит веки сладко. Дремлет патлатый, терпко пахнут канаты морского травой; встает матрос не спеша, идет легко на ногах сильных. Блестит в рубке белая мебель, отсизел за ночь табачный дым. Дальше идет матрос, бьют колеса свежо, курчавятся легкою пеною; шаг замедлил — глядят из окна каюты глаза — на гору голубую, на белую пену — женские глаза, темные, верхняя губа с пушком, шея открытая в ночном белом вороте. Скользнули в глаза глаза, на миг затуманились, рука в белом рукаве протянулась, задернула занавеску. Дальше скользит матрос, только ноздри чуть дрогнули, по лесенке вглубь сбежал, где сон еще жаркий, люди спят.

Просыпается паромовод понемногу, выползают люди, зевают, на солнце шуряют, и сходит с гор, сходит легкий, смуглый сходит бог Зной. Уже проснулся Колесников, лежит — руку под голову, глаза утомленные, щетинка монгольская на твердых щеках; на столе, подле койки, тетрадь, карандаш, револьвер. Греффе стоит в дверях, еще румянец от сна молодой и губы по-мальчишески сонны. Глядит Колесников мягкими глазами, все понимающими: и улыбку его безпричинную, и сонную свежесть.

— Слушайте, Сережа, на копиях узнайте, нет ли телеграмм. Митинг к одиннадцати, надо собрать побольше рабочих, положение очень неопределенное.

Говорит потаенно, слова тайные, понятные им одним, — и крикнуть хочется по матросски, лихо крикнуть: — Есть! — Утром латыш приносит крепкого чаю, Колесников пьет большими глотками, крутые волосы блестят от воды, ходит по рубке, диктует, — и дальше несутся по буквам сухие пальцы. Теперь не ночная, туманная жизнь, — жизнь деловая, тревожная, и женские пальцы не по ночному размыслены, а упрямы и сухи.

И низок уж зной, золотые просторы, пахнет теплой травой с островов, дымом голубым встают горы в полдневном мареве; холодком вдруг пахнет из ущелья, холодком и брусникою, медвежьими тропами. Спускается книзу тайга — колючая, смоляная, сольются запахи сырости, прели берложей с запа-

хом тихим теплых ирисов, голубыми горстями разбросанных по полянам. Там, за таежными буреломами, за глухими заимками, идет по селам чалдонское восстание. Партизаны бывалые, сами льют пули, готовятся к сражению—и идут следом, отряд за отрядом,—армия красная, в гимнастерках лягушечьих, гремят по степи обозы,—идут усмирять. Пронесется по буквам белые пальцы, тревогою полнятся: уже разбиты два отряда, идут повстанцы к копиям снимать шахтеров. И трое лишь их знают об этом на всем пароходе, блестит Колесников стеклом пенсне, диктует крепнущим голосом. Будут ночью шахты, уголь и факелы—и кто знает, где и когда—последняя пристань? Холоден взгляд под стеклами, и ниже над строками склоняется ровным пробормотом темная голова. Вот уже пот бусинками выступил на верхней губе с пушком,—зной и зной за окном, и несомая плавь реки.

В час тихий, послеобеденный, спят люди снова, спит пароход. Бросил чалки, стоит у пристани малой. Лежат дрова штабелями, горит поляна рыжими горицветами, подходит к самой поляне тайга. Темь, прохлада, бурелом, кислая ягода. За поляною—деревенька, день праздничный, кумач и ситец; гармоника наиграет и смолкнет: по северному. И север округ, хоть и низок зной, елочки северные, сквозные, по склону точно паломницы. Пиками кверху, острыми башнями стоит тайга, как монастырь; и

тишина. Спит пароход, спят люди, спят на канатах матросы.

Уже устала бродить по поляне темноволосая женщина, нарвала горицветов—пук огненный, легла в холодке, у тайги, у кряжистых корней, щекою к теплым цветам. Лежит, глядит в небо, в темных глазах облачка плывут, чешуйки легчайшие. Тишина и пчелиный звон, качаются в цветах тяжелые мохнатые пчелы. Прогудит далеко пароход—идет тяжелый, с баржою, гудом монастырским ответит тайга. Вот уже сливаются облачные чешуйки в одну чешую, холодеют руки сонной прохладой, смыкаются глаза; сомкнулись на миг, разомкнулись—голубое и желтое, золотой огонь горицветов, и вот—откуда—пук голубой, нежнейший, ирисов синих: золотое и синее, и не понять никак, откуда вдруг синее... Глаза разомкнула, разом на локте поднялась, глядят близко, улыбочиво серые, знакомые глаза:

— Умаялись, барышня. Вот к желтым синих как раз... эвон, за чащею, поляна голубая, не обещь. Вот по тропочке только, самую малость.

Говорил покойно, слова простые, матросские, а были серые глаза не матросские, затаенные,—и вот когда надо встать и уйти, уйти и не оглянуться,—куда и зачем влекут по тропе слабые ноги... Сразу—прель и прохлада, теплая хвоя, карежатся буреломом деревья, и стрекочет родник над зелеными мшалами камнями.

— Вот уж ножки замочите,—говорит заботливо,—мигом переправлю, на руках переправлю...

И еще—когда нужно сказать:—Не надо,—и когда надо вернуться назад звериной тропой,—зачем смертно трепещет вдруг сердце у самого горла, и тянутся руки к рукам и вот уже несут над потоком руки, высоко несут к голубой поляне. И чей звучит слабый и откуда звучит чужой голос:

— Зачем глядите так, три дня глядите, и не матрос вы вовсе... кто вы?

Льются серые глаза, и отвечают близко горькие, розовые губы:

— Может, и не матрос... и разве важно, кто я? Вот три дня смотрю, все смотрю, и еще смотреть буду. И кто вы и откуда:—разве важно мне? Волосы темные, и глаза темные, и пушок на губе темный.

— Зачем сюда пошла, за вами пошла зачем?— и нет уже сил, и руки, как крылья перешибленные. Глядят глаза в глаза, и близко говорят жаркие губы:

— Цветов голубых много, вот уж цветов сколько, не оберешь!.. На месте устали сидеть, верно, и пальцы стучать устали,—и повторяет томительно женщина, сладко повторяет:—Устали...

Голубое и желтое, голубые цветы, и холодок таежный, и запах смолы,—и где-то там, во тьме, в глубине холодной, точно не было никогда: буквы четкие, лиловатые, и тугое пенсне, и пакеты с печатями...

Говорит человек раздумчиво:

— Прохожий я человек, без пути иду... и куда приду, не знаю. И разве надо знать?—и такая усталость, последняя, лютая в серых глазах, что женское вдруг всколыхнулось, из самой глубины, чем и некрасивые лица женские слепят вдруг нежностью тайной, страстью смертной... И уже никнет, никнет в сильной руке, как тяжелая слабая птица.

Что стучат пальцы сухие и несутся куда лиловатые строки? Ходит по рубке Колесников, волосы ерошит, принес пакеты встречный пароход, подергивается за стеклом черный глаз, диктует голос—теперь властный, стоит в дверях Греффе, белеет отбегой мальчишеской, поднялись уж из трюма латыши, гранаты у пояса, карабины дулами книзу, ленты пулеметные через плечо. Низок день, близки копи, полны ущелья розового дыма, и вечерние птицы летят к островам. Уже мреют желто огни бакенов, чаще селенья вечеряющие, ревет пароход сыро в розоватую синь. И душа над строками лиловатыми, над пакетами, над курчавой головою Колесникова—збкая, невесомая, збкая.

III

Стоит пароход в ночи, оттремели тачки по сходням, устали матросы, горят над шахтами редкие огни. И плывет, плывет над угольной тьмой золотая лядунка цыганского месяца.

Уже сошли с парохода во тьму Колесников, и Греффе сошел с коробкой револьвера, сошли латыши, громыхая. Близко, степями, тропами таежными, идут пешие, на конях едут—партизаны бывалые, поднимают чалдонов. Стоит Колесников на досчатых подмостках, багровеет лоб в душной тьме; стоят округ тесно шахтеры, брови в одну черту, лица угольные, белки красные, слушают зорко. По степи бежит трава, по степи бегут ветры; по степи следом движутся—идет отряд, идут красные. Много уже сел усмирили, ушли повстанцы в тайгу: днем днюют в чаще—звери сторожкие, тропы медвежьи знают; со зверьем—погоны офицерские, белые офицеры,—ночью выходят. Ночью далеко стучит пулемет, как бубен шамана, сходит с бубном шаман с монгольских хребтов, иступляется, пляшет, о землю бьется, лентами колышет в ночи степной.

Ночью лежит месяц над тяжелой шаландою, бел пароход, пустынна палуба. Спят душно в трюме, в сухом жару; уже вернулся Колесников с глазами запавшими, отстрекотала машинка под белыми пальцами: телеграммы, приказы канули в ночь,—и Греффе уснул, по мальчишески холодея щеками; рогом тяжелым набухал месяц, испив Млечного Пути. Пустынна палуба, окна завешаны, и протягивается к белой занавеске тонкая рука в ночном обшлаге. Глядят глаза в лунный простор—и снова на лунном просторе золотое и синее, короток шопот, прерывист у окна, и говорит женщина, слабая:—Не на-

до,—и говорят соленые губы, у самого окна говорят:—Пусти.

Легко, переходами, глухим коридором, чуть скрипнула дверь—и мрак. Во мраке итти, пальцы найти сухие, толкают пальцы назад и не отпускают пальцы. Говорит женщина:

— Зачем, зачем пришли? Мучить меня пришли,—а уже стиснули пальцы руку, и уже льется, восходит из глуби, где бумаги, шифры, порука, сухой стрекот машинки,—льется то, что приказами, шифрами было придавлено—женская восходит сила... И нет уже веры, и совести нет, и стыда нет,—одна есть в мире воля,—и откуда сила такая, и ласка такая откуда, и откуда знает человек этот повадку тайную и слова единственные, и кто и откуда он? Голубое и желтое, и касается щека щеки шероховатой,—щетинка черная у Колесникова, и Греффе спит где-то подле,—и ничего уже нет: ни Греффе, ни усталого взгляда Колесникова—грех есть душный, и кто он, человек этот, который взял ее волю и выпил, как полный стакан.

И пьют, пьют губы, бредет ночь и мутнеет, заходит тяжело набухший месяц; говорит голос тайно, в самое ухо говорит:

— Слушай, птица, говори: пойдешь со мною, все говори...

Отвечает стоном, сладкой тоской отвечает:

— Куда мне итти?..

— По жизни итти, куда позову итти...

Осекся вдруг голос, говорит уже твердо:

— Слушай, все знать тебе надо... все теперь слушай. Офицер я беглый... от расстрела бежал, с документом матросским. Враг твой вчерашний—и близкий твой, самый близкий. Еще слушай, птица: утром придет пароход и будет проверка, искать будут беглых... устал я скрываться, устал притворяться перед людьми, хочу уйти, от людей, от крови уйти хочу. Уйдешь со мной, со мной уйдешь, птица?

Поднялась на локте вдруг, глядит во тьму, и нет уже сил, и слова нет.

— Зверь я затравленный, или в воду мне, или захватят, как зверя захватят. Слушай, птица, одна ты спасти можешь,—стал уже острым голос и сила в нем прежняя, сжимает руку рука до боли.—Достань мне документ, бланк достань с печатью... у тебя бланки. На копиях вместе уйдем, пять часов стоит пароход, знаю пути я: укроемся в Монголию перевалим, Монголия свободная—человеку много простора. Вместе пойдем, по степям пойдем вместе, любовь не повторится, раз только в жизни любовь бывает.

Хрустит во тьме запястьями женщина, терзается, говорит со стоном:

— Уйдите, ничего я не слышала... Уйдите теперь, все забуду, и вас забуду, ничего не было...

— Забудешь—не спасай, так уйду я,—на локте приподнялся. И уже впились, впиваются в руку пальцы, говорит женщина, безумно говорит, себя не помня:—Не уходи только, меня не оставь,—и обвиваются руки, тело бессильно приподымают, голову закинутую держат, мертвые губы, веки целует человек, и опять в глубь, в тьму уходит Колесников, и Греффе уходит,—не знает ничего и не помнит, и не помнит уже, как печать достает, блестит в свету на миг серый глаз, кружок фиолетовый на белой бумаге,—прячет бумагу человек, руки целует. Дымится уже синеватая тьма светом, днем близким.

— Спи уже, уходить мне пора. Вечером будем в копиях, вечером вместе уйдем, знаю пути я... Просторно в Монголии, свободно человеку.

Слабы веки, смыкаются, и поцелуи прощальные тихи, слабей рука, тише все гладит гладкую голову—и замерла. Выходит человек неслышно, коридором протаял—и канул. Плывет пароход в голубой рассвет, из ущелий молочный дым. Дотлевает сухоросная ночь, пеплом поутру сыплется, и сдувает предутренний ветер звезду за звездой. Набежит на песок мелкая волна, рыжие шерстинки облаков рыжеют и пунцовеют—день новый.

IV

Перед рассветом затихают пичуги, тишина таежная. Причалил в предутрии пароход, постоял у пустынной пристани, приняв сонных двух пассажиров — и снова уж забили колеса, шире и шире водный клин. Спят еще люди утренняя сном, спит Колесников, и разметаны женские волосы на душистой подушке. Было все или не было, — вот сон легкий и горько щемит ресницы, приподнялась верхняя губа с пучком и вздрагивает неровно.

Уходит пароход от пустынной пристани: лачуга досчатая, снасти на кольях, досыпает бакенщик сон, — и уходит от пристани, взгорьем уходит человек, плечи сильные, серые глаза, — и вот уж тайгою скрывается, и нет ничего: бурелом есть, и лачуга досчатая есть, и пароход идет горячей купелью, лохматое поднимается солнце. Протягивается из-за дальних хребтов, из-за сопек день голубой. Лежат за синей грядой степи, лежит за грядой Монголия.

Уже стрекочет снова в рубке машинка, бело только, как бумага бело, лицо; диктует Колесников, крепче ерошит крутые волосы. Бьется, бьется душа, как тяжелая рыба, возникают цепями лиловые строки. Стрекочет машинка весь день, и чаще все поднимаются к стеклам глаза, и ищут, и никнут. Близкая стоянка, копи близко, и сил уже нет ни уйти, ни остаться, ни верить.

Днем тяжела тайга от запахов смоляных, запуталось в кедрах небо, чуть голубое; золотые поляны и бурелом. К вечеру выходит человек из тайги, присел у коряги, узел развязал, зубами блестит, дорогу чувствует. Были люди, проходили в ополдень, примята трава. Напился из родника, дальше идет, глядит вперед покойно. Видит человек—люди близко, жилье близко—стоит белая заимка, дымит дымок мирно.

К вечеру приходит к пристани пароход, к вечеру приходит человек к стоянке. Вечером сидит человек, сидят чалдоны-охотники, на столе спирт, пьют звероловы. Сив чалдон старый, порохом синим лицо мечено, глаз еще зоркий, с кремнем дружит. Пьет сам-старшой, пьют трое, наливает девка гостю: глаза карие, блеснет глазом карим, грудью дрогнет крутой, близко пройдет, плечом заденет.

Говорит чалдон:

— Пей и ты, человек прохожий. Откуда идешь?

Говорит человек:

— Добытчицкий я... слабая жила, плохая добыча. Домой иду, волжский я. До копей дойду, на пароход сяду,—вертаться пора, братья, на землю садиться...

Говорит чалдон:

— Хорош Иртыш, большая река, и Волга река большая. Пей за Иртыш, парень, большая река Иртыш! Много воды было, мелеть Иртыш стал, вот уж перекатов сколько, и кос сколько стало. Пей, парень, за Иртыш!

Пьют чалдоны, и гость пьет, и вот уже туманом угарным изба встает,—и близко девка проходит, глаз карий, дыхание жаркое.

— Пейте уж,—говорит утомно, грудно говорит,—умаялись за дорогу, пейте уж.

Зубы белые, и губы жаркие, и грудь полная.

— Будет уж, утром итти надо, уходить надо поутру,—подносят белые пальцы стаканчик, и глядят глаза лениво, сладко глядят.

Запрокинул голову, глаз не спускает, все выпил—поставил стаканчик. Встал—шатается, идет изба кругом, идут звероловы плясом. Дренькает гитарою старый, струны густые щиплет, переборы мягкие,—гремит заимка в ночи, стучат сапогами чалдоны, наигрывает старый, лицом багровеет.

Вот уж туман, рыжий и сизый туман спиртовой,—идет гость, шатаясь, в туман, на крыльцо выходит, лоб трет горячий, сжимает виски. Вот уже собрал себя всего, чадом винным отпарился, воздуха ночного наглотался,—за плечом глаза карие, и плечо круглое, на шее монисто татарское. О при толку оперлась, глядят глаза сладко, греховно глядят,—и кровь вдруг толчками бьет, глядит человек, и усмехается женщина. Говорит лениво:

— Или вино ударило... глядишь на меня чего, глядишь чего, человек?

И ближе сама плечом придвигается, скользкие глаза, скользнешь в них, как в омут, и плечо теплое, мягкое плечо. Глядит человек в глаза, и кровь

бьет круто, вот уж не помнит ничего, пальцами пальцы сжал; усмехается женщина, плечом передернула, грудью колыхнула.

— Ну, глядишь чего, не видал во мне чего? Глядишь чего?

И глуше все, дробней топ в избе чалдонской, пляшут звероловы, щиплет чалдон сивый гитару.

Говорит человек:

— Вот ты какая тут... откуда ты тут такая?

Усмехается женщина:

— Такая уж вышла... или любя тебе?

— Вот уж любя, так уж любя...

И приникает плечом, навалилась на руку сладко:

— Пришел ты откуда, сильный ты, наших сильней, пожалуй...

Смеется смешком коротким, тайным смешком, мутит человека вино, и смешок мутит, вот уже мга пред глазами. Плечи сжимает, тянет к себе, вывертывается женщина, все смеется смешком тихим:

— Вот ты горячий какой... горячий ты. В избу вертайся, хватятся, худо будет...

И опять дым голубой; и переборы густые гитары, сидят чалдоны, сомлели, отплясали, песни тянут:

— До-олина, до-олинушка...

Говорит женщина, говорит над плечом:

— Выпей, сердце, со мной выпей,— и звенит о стаканчик стаканчик.

И глядят глаза снова утомно, близко глядят, жжет спирт сердце, и глаза жгут, и тянут звероловы:

— По тебе... за-аря занимается.

Говорит гость, встал посреди:

— Играй, старый, веселей играй,—а уже топчут ноги, лихо вскинулись, каблуками прищелкнули, и плывут навстречу, плывут лениво карие глаза, платочком привечивает, платочком приманивает,—ревет старый струны, ревет звероловы:

— Лихо... вот лихо уж,—гремит каблуками, а глаза все маячат, маячат, платочком приманивает,—в угол закинулся, задохнулся: тьма душная, и кружит округ сладко, ревет звероловы,—наклоняются глаза, шепчут глаза:

— Умаялся, сердце... вот уж умаялся. Спать ложись, куда тебе с нашими! Выходи на крыльцо, сердце, выходи незаметно, теперь не заметят... Ох, люб ты мне, сердце, так уж люб.

Лежат чалдоны округ, ревет истошно, засыпает старый, голову опустил, струны щипать устал. Идет изба кругом, проходит человек на крыльцо—синей ночью, таежной пахнуло, холодком пахнуло, сторожким стало сердце, рукою нащупал привычно—документы слева, револьвер,—прояснился сторожко, прояснился. Стоит, слушает. Ветерок легкий, тайгой пахнет. Лошадь фыркнула, ест овес мерно. Посвист сусличий. Стоит, во тьму смотрит—проясняется. И шопот вдруг, с ветерком шопот:

— Сюда иди, сердце, за мной иди...

Ведет, ведет за собой шопот, во двор ведет, по лестнице за собой ведет—к сену, к сухим ворохам. Протягивает человек во тьме руки, плечи нащел, и плещет уже зыбкая кровь в виски, ничего не помнит... Вывертывается женщина, из самых рук вывертывается, точно скользкая вся, смешок тихий; бьет в виски кровь, и вино бьет, наливаются кровью глаза—вот уже крыша где, земля где—лицом падает в сено, лежит ничком, пальцами перебирает. Щекочет женщина ухо, шепотком щекочет, кончиками зубов прикусывает:

— Погоди, сердце, горячий ты... погоди сердце, вот дай уж срок. Сама к тебе приду, сама искать стану. Говори, сердце, скоро твои придут, красные придут? Вот уже разбили белых, поразбежались, в тайге живут. Говори, скоро твои придут, белых возьмут? обижают нас белые... вот уж дороги все знаю, в миг проведу, к самому атаману проведу. Все офицеры, самое гнездо офицерское.

Мглится мысль еще, а уже шепчут губы, все шепчут:

— Правда, дорогу знаешь? К самому атаману знаешь? Любая ты, дорогу укажешь, к самому атаману дорогу укажешь?.. Правда, обиду чинят? вот уже скоро гнездо захватят, наши захватят, красные захватят...

Говорит женщина:

— Скота увели, муки сколько взяли... вот ужo дорогу покажу. Поутру дорогу покажу, к самому атаману...

И уже ластится, рук его не отводит, теряет волю последнюю человек, вот переломит спину, — вьется в руках его женщина, губы кусает:

— Пусти уже, погоди уже... ох, ты какой! Гляди, хватятся, конец нам тогда. Так лежи, смиpно лежи, вниз спуcись, погляжу — спят ли. До утра вернусь, до утра вернусь к тебе, сердце... Лежи пока, смиpно лежи...

Лежит тот на сене, пук сена сгреб, ровно женщину; спускается женщина вниз, тенью, провеяла, — сидят чалдоны в избе, отлютовали уж, сидят сумpачно. К женщине сбились, говорит женщина:

— Красный... лазун красный. Дорогу пытал все, про белых выпрашивал...

Вытряхает мешочек холщевый, документ сложенный — красный по документу, денег немного. Перебирает чалдон бумаги, говорит покойно:

— В расход его надо. Ступай уже, Кеша, вот ободняет уже.

В утро выходит чалдон, проходит двором сторожко, взбирается по ступенькам за женщиной. Маленькая стала женщина, воздух глотает часто, крестится меленько. Вот уже духом санным широко пахнуло, спит человек в свете синеватом, умаялся за дорогу, захмелел от вина.

День таежный восходит, щелкнул в ночи, прокатился треск сухой. Тишина снова. Провеет по верхушкам ветер, и первая птица в чаще пикнет серебряным голоском:

— День-день. День-день-день.

V

И день восходит. Вот золотой луч пронзил бурелом. Столбом пушистым мошкора протянулась. Еще глуха, сыра прель, но вот уже желто и сине поляны замрежали, золотые стрелы вонзились в зеленый щит.

Там, где люди стояли становищем, — паль, пожараще, дымятся еще костры: тряпье, банки консервные. На коновязях зубом крепким объели кони кору, дочиста слизали гладкий ствол, изжелта-розовый. Дальше ушли люди кочевьем — жечь костры, биться, скрываться, в чащу заползать, зализывать раны.

И вылетел на поляну маралл. Голову с рогами тяжелыми закинул, ухо поставил сторожкое. Ушли люди, тишина и прель. Носом повел подвижным, сжевал листок с дерева, и дальше пронесся в бурелом. Звенит уже тайга, выше солнце, медом золотым выступает смола, струит терпко дух смоляный. С ветки на ветку слетела вниз тяжелая птица, побродила, блестя крылом угольным, и другая следом слетела тяжелая птица, затомилась, крылья распу-

шила, клюв к земле пригибала, затопталась вокруг, горлом бурлила серебряно, когтями скребла. Круг обходила за кругом, и вот сцепилась клювами в поцелуе птичьим, затомились, забродили клюв-о-клюв, и шеи вывертывали; и уже распускала крылья первая птица, грудью к земле прижалась, клюв раскрывала, пока била, била над ней крылами другая, — и вдруг разом поднялись, из бурелома летели, из тайги летели, под небом расплавленным, к голубым отрогам, где степями, волей, просторами раскидывалась Монголия, желтея песками, голубея отрогами — голубое и желтое — к пустыне и океану.

Монастырь. 1921.

Енисей.

Ч А Д О К

I

Майским вечером, на заре, Машу Ярцеву, тогда худого большеглазого подростка, везли со станции в имение на каникулы. Маша крепко запомнила: золотой холодеющий вечер, теплый кирпич в желтом закатном загаре, уносимое звяканье чьей-то тройки, весь огромный, пустынный, вечереющий мир. Вез ее Федор Одинок, большой желтобородый мужик, в зипуне, несмотря на тепло. Маша сидела в телеге на сене, держалась за грядку худенькой бледной рукой; в длинную лиловую тучу, в клочья оранжевой ваты мутно садилось солнце. За телегой тонко дымилась пыль, хрустальный холодок был в лощинках, деревенский колокол невесело куковал в полях.

Маша запомнила еще, как к околице, где поил Одинок рыжую свою кобыленку, вышла дочь Одинокова, сверстница ее, Марунька, с грудным на руках. Девочки исподлобья смотрели друг на друга, — и одна была легкая, с худыми ключицами, с огромными прекрасными глазами — хрупкое, невесомое, таинственное существо особой породы, и другая — прочная, уже с материнской заботой, с теплым узлом,

который волочила, откинувшись, по-бабьи прижав к животу, и в котором таращил слюдянистые глазки младший Одинокоев, пятый по счету. Минуту-другую смотрели они друг на друга, и дальше потащилась телега, разминув их по разным путям. И по многим еще путям носили Машу по свету уже не телеги, а поезда и пароходы, и даже автомобили, и даже так было однажды, что в кожанном шлеме, надмирная, светящаяся от волнения, сошла она из кабинки того хрупкого и удивительного аппарата, в котором люди уже привычно летают под облаками, и летчик-немец, весь в светложелтой и ловкой коже, улыбался белозубо прелестной северянке. А Маша Одинокоева выпестовала пятого по счету, и выпестовала шестую—Нюшку, возила ее только телега и то все по привычным дорогам—в лес за подсошками, к мельнице—смолоть новину, и только раз широкая рыжая кобыла, дочь той, на которой возил отец Машу Ярцеву, с лентами в гриве, повезла ее по новой дороге: к церкви, венчаться; телега тряслась, кобыла бежала размашисто, и все кругом в этот раз было так, как никогда не бывало прежде.

Судьбы, годы идут. Только бледная рука на спинке дивана та же, что и на грядке телеги тогда, лишь лощенные ногти поострей. Да пустынное залег мир в серых глазах, да, пожалуй, женская складка у кармином тронутых губ. Горько пахли за скатом сада травы в ту пору, те пустые сахарные

стволы болиголовы,—и теперь непахучие цветы на подоконниках, цветы без русской горечи и русского дурмана, как без дурмана и горечи асфальтовая немецкая жизнь. Да разве еще колокол кирки всплакнет размеренно в праздники—не кукушечьим плачем и не деревенским простором, и идут прихожане, в цилиндрах, в котелках, глухо застегнутые, по выложенным узорам черных шлифованных камешков, по каменным ступеням:—в кирке дуб и скамьи, и цветные стекла окон, и низкий пронзительный вопль органа. Дуга тринадцати лет перекинулась с той поры, а кажется: только вчера тряслась на закате телега, и мир был еще необозрим и чудесен, и таинственен ожиданием,—и вот уже все открыто, дороги исхожены, и мир так тесен, однообразен и мал.

На окнах непахучие цветы; мутное немецкое небо, дома, дома—все, как один, балконы и жалюзи, у лавок женщины с корзинами для провизии, осень; в России снег, а здесь серо, скользко, на тротуарах следы собак, бесчисленных серо-волчьих немецких собак. И небо, как аспидная доска, серый грифель судьбы не отметит его русскою радугой, голубым расплавленным полднем, или лиловатыми снежными метельными облаками. Снега нет, нет метелей, дрова не стреляют в печи и не хрустят крутые корки березы,—уголь развозят аккуратными плитками, от него сухое чужое тепло, пламя не обжигает щеки, и над пламенем не раз-

думаешься. Это — новая родина, годы изгнания — проселочные дороги, ноги истерты, душа истерта.

Вот уже вечерняя ранняя сизь сквозь тюль занавесок, не русские сумерки, снежинок не пронесет за окном, — сразу зеленый гной газа, от которого: лица мертвецов. Потянуть за колечко цепочку, звякнут неживые хрустали люстры, и польется этот невидимый гной, поднести спичку — и вот он вспыхивает нестерпимо-зеленовато, зеленые лица, зелень в глазах — смертная тоскующая зелень. На улице церковными русскими колымагами едут медленно тяжелые деревянные кареты извозчиков, острие кнута, литой цилиндр с белой розеткой, на ногах одеяло, да жучки моторов пробегут по асфальту — от клеенки оторвали клеенку, да на вокзале — над крышами, за углом, по-российски скитальчески загудит паровоз, прогрохочет поезд — понесет кого-нибудь на восток, в Россию, к снегам, к родине... Хозяин вернулся со службы, надел туфли, как каждый вечер, звенят за стеной протираемые хрустали люстры, чистит ее каждый вечер, на лесенке: годы, осени, весны.

Сергей возвращается вечером, — тоже, как и все, усвоил уже здешний облик: остроносые ботинки, обломок сигары, зеленая шляпа. Ходит, как все, сбегает в колодцы подземной, куда-то все носится, озабоченно, как все немцы, только у тех от этой упорной, дьявольски-трудной жизни глаза глубже, да скулы тверже, а у этого нет-нет да растерянность в си-

них глазах и страх—волчий перед чужой этой жизнью, которую словно совсем приручил, да вдруг—волчий оскал, и покажет чужое, совсем равнодушное, совсем мертвое лицо. На родине что бы ни было—нет этого собачьего страха перед жизнью, своя земля; ляжешь щекою к земле—прохлада и в зной, пусть смертная, но примиряющая,—а здесь ужас, страх—маленький, круглый страшок,—каждый день, каждый час. Так жить нельзя—на чужой земле.

Два раза вспомнила—так осязательно, раняще—золотой майский тот вечер, когда подростком тряслась на телеге Федора Одинокова: в первый—в лечебнице, белой, блистающей лаком, желтыми половицами, сталью инструментов, где чужой бело-снежный врач, с лощеной розовой лысинкой, привычно и осторожно убил в ней ребенка; во второй—теперь: вечер, зеленый гной газа, Сергей вернулся—голодный, озябший, серые гетры, как у всех, а в голубых глазах—ужас, собачий, придавленный, ужас и растерянность. Все испробовано—от гвардейского офицера до кельнера в ресторане, всем был, всему научился,—Константинополь, Прага, Париж, Берлин,—весь мир, весь свет; выбрит отлично, по-европейски,—ничего не стыдно, любую работу,—шины за окном отрывают от клеенки клеенку, золотая вывеска лопнула золотом, заструилась—сусалью, текучими буквами—Massary... Massary... Это тогда решили, в тот вечер, раз навсегда,—

крепко, окончательно, каменно—назад в Россию, пусть снег, ковриги снега—в русском снегу всегда найдут тропку, отыщет нога—пусть в остроносом европейском ботинке, ведь ступня-то босой знала землю, эту шероховатую, прохладную землю родины. И тогда сразу все стало ясно, оправдано, ничуть не страшно. Ведь не весь мир определен, отмерен этим бетоном и ровными плоскими камнями, которыми забивают плечи асфальта. Там, за асфальтом, за подземными поездами, в которых немцы мушают огрызки сигар и стоя читают газеты, есть именно тот громадный, непройденный мир, в который Маша входила подростком—золотым загаром полей, мир не исхоженный до последней пяди, не загаженный этими серо-волчьими немецкими собаками—в сущности, именно то, что было первоосновой бегства, изгнания, страшной кутерьмы жизни:—Россия. И в глазах у Сергея, в этих европейских глазах, чуть с холодинкою—когда растеряны, когда легкий ужасик в них перед этим страшным цепляньем за жизнь,—тогда в них: Россия, то-есть разрешение всех вопросов, все—понятное и нестрашное. И в тот вечер, когда решили: назад, в Россию—тогда именно такими, прежними, русскими стали его глаза, Маша от счастья плакала, целовала их, мочила своими слезами и, может быть, слезы мешались—много было тогда, в этот вечер. Чайник на спиртовке домашне дренькал крышкой, тяжелые шторы стянули, чтобы отгородиться от мира, и газа

не зажгли, зажгли две толстых красных свечи, тени колыхались, неслись—все было, как в России, в деревенском доме. Утром Сергей на цветочном рынке купил цветов—мелкие, голубоватые и пахучие, за цветами—близко—была Россия... И вдруг оправдалось все, жизнь заполнилась—стали жить как бы на ходу, на отлете, как бы проездом в городе, когда, что ешь—неважно, и спишь кое-как, может быть, завтра сниматься, дальше нестись; и к людям присматриваешься со стороны, как приезжий, в жизнь не входяшь.

В посольстве номерки выдают на очередь, все очень просто, у секретаря—немецкие зеленые чулки с отворотами, но в них еще более—русский, как в скорлупе; русские рабочие из Америки—роговые очки, кепки, а входят с улицы—руку об руку хлопают, как мужики, ноги отбивают от наледи, как снег отбивают в России; и сырость вносят с собой, бодрый морозец. Все назад, в Россию,—слово, как тяжелая глыба,—таинственное даже для немцев, для англичан, которые тоже ждут с номерками. Вот теперь сразу словно распахнуты двери, теперь есть воздух, теперь годы изгнания, бессмысленной кутермы, смрада, отчаяния, бегства—все изжито. Жизнь начинается сначала—ново, не каменным четырехугольником, а дальне, пространственно, неисхоженно.

Сергей долго стучает ногу о ногу, сбивает ледяную склизь, лицо покраснело от холода; — белая рука уперлась в диван — Маша вытянулась, глядела, ждала, словно струну колком подвернули — сразу глянули растерянные, нищие глаза, озябшее лицо — вдруг старое, немолодые складки у губ. Еще долго отстукивал ноги, вытирал лицо платком, глаза вытирал — от ветра намело.

— Отказано, Маша.

Мелкие синие цветочки в вазочке — пахучие, цветы в Берлине дешевы, на углах торговли с букетиками. Башмачишки вдруг жалкие, с острыми носочками, с гетрами, жалкие гетры.

— Отказано, причин не говорят.

А ветер, осенний берлинский ветер — гонит склизь, зеленый гной фонарей, и золотые буквы обвисают: Massary... Massary... или ликер Канторовича, ликер Канторовича в глиняных графинчиках-пузанах — ветер нагнал на ресницы мызглого снегу, все платком вытирал. И платок не свежий, на ходу жили, до платков ли, до устройства ли жизни...

— Как же теперь будем жить? — Маша спросила, голос из граммофонного ящика, словно сквозь шум.

— Как-нибудь будем... надо квартиру переменить, за городом вдвое дешевле... сообщение удобное. Все ищут за городом. Займись чем-нибудь... службы не найду, роман писать буду, теперь все романы пишут, вообще можно завязать дела с из-

дательствами. Могу воспоминания написать, слава богу, много перевидал... Подождем годик, да к тому же в России сейчас и беспокойно, и дорого.— Говорил так, словно обсуждали, куда бы еще переехать где дешевле, как все обсуждали—три года подряд—глыбами сдвигались, кочевали с семьями, с детьми, на дешевую жизнь.—И жалею, что затеяли, надо было место искать, или за роман сесть. Я бы за это время уже запродам, уехали бы в горы намесяц.

Пиджачишко длинный, в талию, по моде, ватные плечи, как все носят,—все еще франтит, слова словно из ящика, а вот уже слабость на лбу—холодная, тихая—от голода или ужаса,—Маша рукою водила по мокрому лбу. Говорила слова—женские, бабьи—женщина в беде всегда тверже мужчины, выносливее.

—Ну, конечно, придумаем. Мало разве придумывали за все эти годы, лучше всего воспоминания писать, роман сразу, пожалуй, и не напишешь. А потом, как будет возможность... знаешь, о чем я думаю?—Поворачивал голову, смотрел доверчиво, уже верил,—мужчины, как дети, всему поверят в женском голосе ласковом:—А потом... ребеночек будет... Будет у нас ребеночек, ведь будет?—Тянулась сама, всем нутром, незаполненным, не засеянным, женскою ждущей утробой—инстинкт—жизнь в себе почувствовать, затяжелеть от мужчины.—То, доктор, палаты... гадость, ужас. Ведь, не будет так больше, никогда не будет?

Лепетала в самое розовое ухо, нежное еще, и знала:—Будет. Ребенок зачнется—надо убить Куду с ребенком в изгнании? Ребенок без родины,—нет, уж будет, достаточно и всего, что было.

— Бедный ты мой, мальчик ты мой измученный...

И он верит, как всегда всему верит,—здесь, на диване, как всегда, сменяется отчаянье страстью и надеждой.

Уголь экономят, дороги ровные плитки с вдавленной надписью, комната холодеет, светлая голова на подушке, вытянут под немецкой чужою периною. Для романа нужен талант, есть предел этому цеплянию за жизнь, устают руки—и нет веры. И нет ребенка—нет и не может быть,← берлинские ветры несут водяные сети. А здесь—поля без снега, и непахучие цветы, и мелкие голубые цветочки в вазе, как воспоминание о неповторимом. Что же, выйти на улицу, как тысячи женщин выходят, на северянку найдется охотник,—может быть, подвернется американец, о котором мечтают все женщины, щедро сунет за ворот зеленую узкую бумажку, про которую все говорят.—За окном зеленый фонарь, пьяный идет под зонтом, качнулся, постоял у ворот, поскользнулся о след собачий. Зеленый фонарь сучит-сучит дождевые нити, мокрый камень, мокрый мотор пробежал, полоснул по камням дымными желтыми крыльями. Мачеха—город, мачеха—родина. Немец в желтой коже улыб-

нулся ей тогда, когда сходила с хрупкого его аппарата из легкого дерева и алюминия,—видела мир внизу—порабощенный, разбитый человеком на клетки,—а теперь сама в этой клетке—предельной, асфальтово-каменной, из которой нет выхода в мир, а есть один только выход—в надмирность, именно в летучую эту невесомость, в переходящесть облахов... Ноготки обломаны, душа, как перчатка снятая,—еще год ждать, верить не веря, надеяться не надеясь? Вот так—проще, благословеннее: только дернуть за колечко цепочки, и полетится, зеленовато не вспыхнув, невидимый сладкий угарик, забвенный чадок, от него померещатся сны, запахнут непахучие цветы жадным, горьким запахом болиголовы,—опять вечереющий, пространный, непройденный мир встанет над смуглыми полями.

Босые ноги легки, неслышимы в ковре, белая рука—та же рука, что и тогда на грядке телеги, протянулась, забелела в зеленом свете уличного огня, неслышимо качнулось колечко,—ничего не случилось: все так же, попрежнему; за окном гусаком прокричал мотор; дыхание возле уха ровно, во сне ничего не увидишь, не узнаешь,—немецкие перины мягки, баюкают, качают. Немцы спят истово, прочно, скулы разжаты, сдвинутые брови разошлись: во сне нет этой жестокой, упрямой жизни. Легкий, сладковатый чадок—чуть оседает на небе, на веках—емертной ломотою усталости,—ничего не бы-

ло, мелкие голубоватые цветочки пахнут в вазе пороссийски—дурманно, как на скате за садом. Опять мир громаден, свеж, полон запаха трав, майских просторов.

II

Марья вскинула парусом домотканную скатерть с красными петухами по краю. И в избе стало вдруг чище, светлее, точно снег выпал. Она осторожно, чтобы не -громыхнуть, достала дородные чашки с росписью цветами и поставила на стол. Она многое успела еще сделать до дальнего гуда вечернего поезда. Достала из угла веник из прошлогодней полыни и мяты, и, тяжело сгибаясь, как позволял большой круглый живот, стала выметать избу. Веник все еще крепко пахнул раздавленной мятой, мяту же и полынь разсовывали по углам от блох. Дрова в печи стреляли, крепкая сухая осина, иногда с треском свертывалась березовая шкурка, красные пятна полыхали по полу—изба была кволая, врозь косяками, но опрятная. Марья вымела пол, хотела перевязать платок и вдруг села на скамью: в живот изнутри крепко, требовательно ударили. Она наморщилась было от боли, но внезапно лицо ее просветлело, на него сошла красота: чуть морщась, прекрасная всеми двадцатью-пятью годами своими, своей тяжестью—она слушала. Внутри еще

дважды толкнулось, повозилось и улеглось. И тотчас же завозилось, глубоко вздохнуло, зевнуло и хныкнуло в большой деревянной люльке. Опять, на сколько позволял ей живот, она нагнулась над люлькой, привычно подсунула руку, нащупала мокроту, легко положила на руку сонного, с путанными волосенками, розовощекого, продолжавшего спать на весу, перестелила, придерживая простынку зубами за край,—люлька колыхнулась, и маленький опять поплыл в сне. Это был первенец Федор—по отцу—Одинокovu. Она минуту еще постояла над ним, он чувствовал ее близость и засыпал покойно.

И она стала снова безшумно возиться: она в сенцах налила в начищенный самовар ледяной воды, тяжело понесла его к печке, развела, и в черное недро тяги понеслись золотые стрелы. Дрова в печи стреляли, шишки хлопали в самоварной трубе, но от этого глубже была тишина избы. Она начисто перетерла полотенцем чашки и блюда, достала большой теплый еще хлеб, поставила рядом с чашками и огляделась. Все было чисто, выметено, и прибрано ее руками, пол сама она трудно вымыла с утра. На окнах были сизые елки мороза, она села на скамью, послушала дальний ход поезда, но ход был переходящ—шел товарный,—и минутку задумалась. Жила она с мужем хорошо, тесно, жалели друг друга; Яков был мужик смирный, на деревне считался хорошим бондарем; свозил из леса на станцию дрова по наряду; и сейчас, в канун Рождества, в свой черед,

поехал свозить дрова, прихватив на продажу пару елок. Марья с мужем жила от родного села недалеко, часто с маленьким уезжала она домой на побывку. Приезжал за ней раз в отцовом картузе Федька, самый тот, которого выпестовала она в доме, и Марья, когда подъезжали к околице деревни, вспомнила, как выходила с ним в одеяле встречать отца, вспомнила городскую барышню, которую вез он в телеге, засмеялась и покачала головой, глядя на Федькин картуз, на оттопыренные под ним розовые уши и на то, как правил он кобылой, словно мужик, и сплевывал в сторону.

— Вот ты какой стал, — она сказала сквозь смех, — а я тебя во каком в одеяле носила...

И она вспомнила прожитые годы, которые шли не спеша, как была она в девках, сватовство и замужество, и в ней потеплело вдруг, что стала она из девки бабой, живет хорошо с мужем, рожала и теперь везет сына от него. Яблоки в отцовском саду дошли, крутая ядреная антоновка, Федька похозяйски водил за собой, сорвал с низкой ветки точеное яблоко, обтер рукавом и деловито, как хозяин, сказал: — А ну-ка, попробуй... — Они по очереди откусили твердое холодное яблоко, грызли его крепкими белыми зубами, Федька вдруг засмеялся, засмеялась и она, хотела ухватить его за ухо, но он вывернулся и побежал прочь козлом; было ему тринадцать лет.

Марья улыбнулась, вздохнула, надела армячек и вышла во двор. Луна в морозном тумане, в сизом двойном кольце. В закуте овца вздохнула, снег блестит, откатанная дорога под-взволок лоснится, мороз крепок, ветки плюшевы от толстого мохнатого инея. И тишина—стылая, только столбы гудят вдоль шоссе. Под луной дорога далеко видна до осинничков—никого нет. К Крещенью морозы наваяют, воздух надсадный, вострый; рогулька застрехи в снегу, как бабья кичка. Марья постояла, подумала озабоченно, что давно бы быть Якову, как бы не смерз дорогой; чтобы смять беспокойство, вернулась она еще в дом, послушала маленького и понесла в хлев в ведре стоялой воды поить Рябушку. В хлеву было тепло, Рябушка тяжело лежала, розовое вымя плашмя на соломе, она поглядела—сказала:—Тяжело подниматься, напьюсь и так,—стала пить лежа, степенно, как мать, и тотчас же подошел белолобый бычок Фома, осенний Рябушкин приплод, понюхал воду, вдруг заскакал боком, играючи, словно козел, минутку постоял—рога к земле, будто очень осерчал,—и принялся за сено. Марья напоила корову, заперла хлев, вернулась назад в избу, самовар уже поспел,—она стала снимать трубу и чистить, досадуя, что вот теперь самовар непременно до приезда заглохнет, вдруг голос за спиной сказал в дверях весело:

—Ну, Марья, принимай гостью...

Сердце ее дрогнуло от радости и испуга, и она сказала, глубоко вздохнув, чтобы не выдать радости:—Вот напугал, домовой,—но глаза ее сияли ему навстречу, она улыбалась широко, и Яков, в тулупе, с сахарной бородой и усищами, пропустил вперед узел. Узел шевельнулся, в щели было лицо Нюшки, младшей Одиноквой, которую прихватил Яков по дороге. И Нюшка из узла пропищала:—Маша, здравствуй..

—Вот домовой, ну, прямо как есть домовой,—говорила Марья,—девчонку совсем сморозил,—а сама выпрастывала ее из тряпья, выпростала, поставила на скамью и вдруг звонко зачмокала в одну, другую холодные ожженные щеки. И сейчас же хлопотливо стала она собирать на стол, пока Яков убирал и ставил лошадь.

—Что много свозил, купец? — она спросила, не глядя, но он знал, что она ждала его и все никак не могла дождаться, он подошел и обнял ее, она упиралась в него локтем, но он все же прижал ее, поцеловал в щеку, вдруг она оттолкнула и сказала шопотом:—Постой!—Она минуту прислушивалась, потом взяла его руку и прижала к своему круглому животу: там что-то возилось, пихалось и вдруг умолкло. И сказала счастливо:—Толкается.

Яков посмотрел еще на сына в люльке, сели за чай. Нюшка отогрелась, пила как большая, дула на блюдечко и кусала сахар. Марья глядела на нее и качала головой.

— Ну, что ж, много свозил, купец? — спросила она опять.

— Да раза три обернулся. А елки с поезда со спасибо купили, прямо на весь гостинец, — и он достал из-за пазухи и развернул новый глазастый платок: красные цветы по синему полю — такой, какой нравился ей. Но она поглядела мельком, опять не выдавая радости.

— Старушечий больно.

— В самую пору, коли старушечий; — и опять глаза ее против воли засияли ему навстречу.

— Ну, а ты, Нюшка, сморилась с морозу? Ишь какая большая стала.

И Нюшка, раздутая от чая, опять пропищала: — Я никакого мороза не боюсь... я совсем без платка даже бегаю, когда что... — и Марья снова любовно посмотрела на сестру, которую также выпестовала сама, как и Федьку. После чая Яков пошел поить лошадей, Марья убралась, перемыла чашки, постелила Нюшке постель — на лежанке, опять двигалась проворно и споро, как обычно. Маленький снова был мокр, она перестелила ему, расчесывала свои волосы на ночь, когда Яков вернулся. Он обошел все округ, двор; день прошел в труде, все было в порядке. В избе было жарко, покойно; Яков задул лампу, разделся в темноте, они стали было ложиться в общую их постель, вдруг Марья сказала:

— Да что же это я... печку закрыть забыла.

Она хотела была перелезть через него, но ему стало жалко жены, нагнаться ей перед печью трудно,—он сказал:—Сам закрою,—легко соскочил и подбежал к печке. Она была полна золотых горячих углей, он помешал их немного, постучал и полез закрывать вьюшки.

—Смотри, помешай как следует,—Марья сказала с постели.

—Да они прогорели вовсе,—и он легко побегал назад и лег к ней в постель; он скоро заснул. Марья лежала на спине, лежать на боку мешал живот, думала—девчонка будет или мальчишка—хотела девчонку, под пару; вдруг потянула носом—от печи шел сладенький угарик. Она быстро, насколько позволяла ей тяжесть, перелезла через мужа, тяжело нагнулась у печи, понюхала, сказала вслух:—Эх ты, хозяин,—и вытащила головешку; по ребринам ее еще колыхался синеватый огонек, она быстро сунула ее в зашипевшую воду, понюхала печь еще и не спеша вернулась к постели. Муж спал, прядка волос лежала у него на глазах, она посмотрела на него, послушала его дыхание, снова сказала вслух:—Эх, ты, хозяин!—Она перелезла через него, долго укладывалась поудобнее и затихла. Чадок прошел, теперь опять пахло в избе прежними запахами—хлебом, теплом, прошлогодней раздавленной мятой.

Октябрь. 1922.

Гамбург.

ЗАЦВЕТАЕТ ЖИЗНЬ

I

Ночь, кипевшая мартовской бурей, застеклянела утром. Утро мутною стылью возникало, лилось, застревая в ветвях большого оттепельного сада. И утром вышло солнце. Оно затеплило март, как восковую свечу, загораясь сахарным блеском зернистого снега, коричневеющего на бульварах, сиянием луж на площадях. И утром в дортуарах громадного многоколонного здания горнист звонко, картаво будил несколько сот здоровых молодых людей, крепкими легкими вдыхавших утренний холодеющий воздух. В это утро хоронили начальника.

Только две недели назад, стиснув локтем портфель, в своей длинной зеленоватой машине, разбиравшей весенние лужи, подъезжал он к широким ступеням, к цепенеющим часовым, легко взбегал по лестнице, несмотря на свои 46 лет, — был усидчив, внимателен, трудолюбив; в его большом кабинете, где в окнах стоял белый трудовой свет рабочего дня, на гигантской карте, распятой вдоль всей стены, раскинулись части, гарнизоны, базы — все, чем управлял он властно, единолично, ревниво. Только

две недели назад он был единственным, незаменимым никем, как некий буддийский бог заседавший в таинственном своем кабинете, откуда сухие звонки нервически вздрагивали на коммутаторе. Отсюда по проводам неслась его воля, звериная осторожность, тонкий ум знатока,—и тогда казалось, что если бы его вдруг не стало, все полетело бы в хаос, смешалось, разстроилось, сбилось. Но он болел две недели, и две недели уже подъезжал в деловой утренний час на его же машине заместитель, тридцатилетний, годившийся по виду ему в сыновья, как-то затерявшийся первоначально в глубине большого его кабинета,—но ничто не разстроилось, ничто не полетело в хаос, а так же вздрагивал коммутатор сигналами, так же несли бумаги на подпись, и никто уже не находил заместителя слишком моложавым, старики—перекроенные генералы так же вытягивались перед ним по-военному, и слегка наивная подпись без расчерка так же означала его волю и осторожность. Приказы с его именем уже летели по проводам, жизнь шла обычным порядком, словно никто не был вычеркнут из ее списка,—все приходило в положенные часы, горбились над столами, стучали на машинках, дежурили, как две недели назад, как месяц назад, как год назад.

Заместитель приезжал к 10 часам. Он был просто способный, смелый человек, никакими особенными знаниям не отличался, но участвовал в боях, имел два заслуженных ордена, и новое звание,

честь и положение дались ему не трудом и бессонницами, а скорее удачливостью, смелым очерком голубоватых глаз, путаной льняною копной над мужственным прекрасным лбом. Он, кроме того, был пытлив и решителен,—и о нем уже говорили, как об удачном заместителе того, кто казался до этой поры незаменимым. Старики-генералы, заведующие частями и отделениями, — быстро свыклись с его молоджавостью, он был начальство, как всякое другое начальство, отдавал приказанья решительно, они уже привычно вытягивались перед ним, приспособлялись к его особенностям и характеру, И теперь уже казалось, что ничего исключительного не было в таланте незаменимого, он был заменим, как и всякий другой,—и вовсе не надо было всех его знаний, трудов и навыков, а достаточно было иметь память и волю, и так же по гигантской карте двигались части, расквартировывались, получали довольствие, сменялись и пополнялись. И кресло, просиженное тем, даже кресло, с которым делил тот все труды свои и бессоницы, — и оно изменило, продажно вытягивая ручки со львиными мордами для нового пришельца. Он был здесь уже полноправным, он прокуривал своим табаком кабинет, в котором никто никогда не курил, отдыхал на широком диване, по-хозяйски откликиваясь на стук в матовую стеклянную дверь.

В конце первой недели, на той же длинной зеленоватой машине, он ехал на заседание совета. Он

выступал в нем в первый раз, тщательно обдумал доклад, старался себя охладить, внушить себе, что это лишь подробность текущей работы, в сущности временной для него,—но он уже ревниво привык к своему положению, болезнь незаменимого затягивалась и была угрожающей, и он думал все чаще о закреплении за собой этого дара судьбы. который теперь не казался ему случайным... И хотя еще в ходе болезни того не было никакого решительного поворота, все уже свыклись с тем, что его нет и не будет, и старики-генералы говорили о новом назначении, словно не две лишь недели назад вскакивали на сухие разряды звонков и смотрели почтительно на коротко остриженную голову, отблескивающую серебром, и на значки выслуг и знаний на левой стороне груди.

Заседание совета было в малой округлой зале, откуда давно уже работой, плакатами, табаком вытеснен был старый фрейлинский дух. И заместитель, входя сюда впервые, ощутил некую робость, оттого что мало кого знал и оттого что казалось ему, что все тотчас же обратят внимание на его молодость; но все были заняты своими делами, просматривали бумаги, курили, сидели на подоконниках, и он вдруг задосадовал на себя за то, что так старательно отпускал светлую бородку, чтобы казаться старше. Никто не обратил на него внимания, и он подумал вдруг, что точно так же, как он возник здесь, так здесь его и не станет, как неделю назад не стало

того,—а жизнь будет идти своим порядком с заседаниями, сменами, назначениями—обычными буднями, для которых нет человеческой судьбы. Но он совсем не был склонен к раздумьям и настроениям, и вместе же с другими присел и он на окно выкурить папироску.

О том, что начальник болен, знали здесь все,—и еще в то утро, когда он почувствовал недомогание и дневной свет показался ему слишком белым и неприятным, но он все же хотел превозмочь себя и поехать на службу,—мог ли он знать, что все уже давно учтено, его изношенность и утомленность, и что у него, считавшегося до сих пор единственным и незаменимым, есть уже заместитель, и найдется другой, если только будет необходимость. Да он и не мог думать об этом, он только-только перешагнул за ту черту, когда устроится жизнь, неустанным трудом, многими жертвами добился положения, работал усердно; он был еще очень крепок, слегка сух, жилист — мужчины такого рода не стареют, а лишь подсыхают, отблескивая серебром в остриженных волосах; фрэнч сидел на нем еще щеголевато, он нет-нет любил оглядеть себя в зеркало, свою кавалерийскую выправку, с легкой игрой маленьких серебряных шпор. И все, кто заходили к нему в кабинет,—все знали это легкое подрагиванье скулы, коричневатые, еще прекрасные пальцы, сжавшие телефонную трубку, подравниванье карманною пилочкой больших твердых ногтей. Он жил одиноко, как вдовец, на холостой

казенной квартире,—но вот уже год как сворачивал автомобиль с вечерних длительных заседаний в узенький переулочек, зимой—в снежной вязи, сплетенной над ним; весной—в липовом глубоком аромате,—к деревянному домику, где в сухом тепле, с чудесным блеском карих, слегка татарских глаз ждало его двадцатидвухлетнее существо, обожавшее его выправку, седые виски, позднюю взвешенную страсть,—все, что чудесно было связано с ним, с его именем, с его положением. И там, в тепле низеньких комнат, он забывал о делах, о портфеле с бумагами, обо всей настойчивой, беспокойной, взбудораженной жизни, которой отдавал он с таким избытком ум, труд и тщеславие.

Он помнил ясно, как это пришло, как это находило на него несколько дней подряд накануне того туманного утра, когда он понял, что болен, и когда впервые за все годы его труда сухой разряд телефона известил помощника, что на службу он не придет. Март был над городом, начало марта, мутное, как первые полыньи. Из марта, на несколько дней блеснувшего солнцем, весной,—неся кривой мокрый снег. Снег тотчас же таял, но кое-где на путях, на пустырях заносил—там март походил на октябрь. Автомобиль, в котором возвращался начальник, пролетал бульварами коричнево-снежными,—путь был знаком, знакома была выгнутая спина шофера в желтом кожане с заплатой меж лопаток. Еще было на плечах обычное заседание, табачный дым, кото-

рого он не переносил, сметы, приказы, лежавшие в тугом портфеле, и весь бег автомобиля был как бы кратким переходом к последующему деловому часу,—но он подумал вдруг с облегчением, что уже шесть часов, в канцеляриях громадного здания тишина вечерних дежурств, в служебном его кабинете тепло и пустынно,—и можно вот так—минуту, пять, десять—просидеть в кресле, не двигаясь, не вспоминая, не думая ни о чем... Это желание бездумия приходило к нему уже несколько раз, он неизменно боролся с ним, но за последние дни оно находило все чаще, и он уже отдавался ему, как отдавался тому неукротимому желанию, которое сворачивало его автомобиль вечерами в знакомый узенький переулок.

Автомобиль, разнося лужи, легко пролетел через площадь, к огромному серо-колонному зданию, и начальник бодро, спустя минуту, стал подниматься по лестнице, все сорок девять ступенек, к длинному коридору, в рдеющих отблесках печей. В округлых окнах его кабинета стояла синеватая тень мартовского предвечерья,—и уже вечерняя тишина была во всем здании, далекий стрекозиный полет телефонных звонков, редкие шаги коридором. И как бы переходя от труда к труду, он деловито сел в кресло, потянул привычно бумаги, приподнял было трубку телефона,—но вдруг, откинувшись, скрестив пальцы, ощутил, наконец, то желанное бездумие, когда лишь легкий звон крови в ушах и прохлада на веках, легчайшая, вечная... Это была всего лишь минута,

но длилась она блаженно, бесконечно, — он стряхнул ее с усилием, собрал себя, поднял телефонную трубку — и дальше покатилась деловая, обычная жизнь, стопки телеграмм, вечерние голоса — все привычное, шедшее изо дня в день. Он работал еще два часа усидчиво, методически, собрал бумаги в портфель для ночного просмотра, сложил нужные на утро под стеклянное пресс-папье, — он возвращался домой, чтобы сесть, отдохнув, за суровую ночную работу, — но, откинувшись в глубине несущейся бульваром машины, сразу озябнув, он ощутил вдруг страх перед этим деловым одиноким вечером — и уже минутой спустя машина сворачивала в сторону от бульвара, к талому узкому переулку.

И та, кто ждала его, — она, наверное, тоже была в этот вечер полна каких то неясных и неожиданных чувств — она была нежна с ним необычайно, болезненно ощущая в себе эту нежность к его седым вискам, к бьющемуся его тяжелому сердцу, — сама не зная причины этой нежности и согревая его чудесным теплом чуть татарских прекрасных глаз. Ей нравилось в нем все — суховатая твердость скул, скупая улыбка маленьких губ под подстриженными седыми усами, чуть хищная изогнутость твердых белых ногтей, — и она отдавала ему с восторгом и нежностью всю свою двадцатидвухлетнюю молодость и раннюю искушенность. Она владела им всем, недоступным и таинственным для других, она знала в нем то, чего никто не знал — все его малые сла-

бости, его сон, его усталость, — и замыкала в себе это маленькое торжество женщины, наивное тщеславие и ревнивую скупость — владеть им всем полновластно. И если бы ктонибудь мог сказать ей в ту ночь, что меньше чем через месяц она потеряет его навсегда, — она бы не колеблясь ответила, что жить без него не станет. Она помнила еще, как под утро, провожая его, она все не могла досыта с ним проститься, она все не могла наглядеться в его запавшие глаза. И это талое утро, встававшее словно предчувствием, утро в мутных полыньях, в трудном тумане, показалось ей вдруг таким бесконечным и как бы протянутым на всю жизнь.

В это утро не поборол себя он впервые, он был болен и слаб, — и в это утро его машина впервые вернулась пустой — свет марта был слишком бел и широко входил в его открытые глаза, обращенные к окнам. То, что он строил с таким упорством, навыком и трудом, — все это в одно утро стало невесомым, несуществующим, как легкий цветочный пух. Там, за окном, продолжалась жизнь, снежная роза зимы таяла мартом — зацветала новая, еще спеленутая тугими зелеными лепестками. И так же трещали звонки в громадном здании, неслись по проводам телеграммы, двигались части, шло довольствие, сменялись дежурства, — и был уже для него, незаменимого, заместитель, правда и удача которого были в том, что он был молод, смел, с отлич-

ным очерком глаз и льняною копной над свежим упорным лбом. И на заседании совета, где он излагал свой доклад, меньше вникали в существо доклада, а больше в то, что он был чуть взволнован, говорил временами звонким и как бы мальчишеским голосом, он был горяч и молод, это было равноценно знаниям и навыку, — и всем доклад показался значительнее, чем был он на самом деле, а поправки — подробностями. И когда, после заседания, еще разгоряченный, он складывал бумаги в портфель, его перехватил по дороге секретарь председателя и повел за собой в его кабинет. Председатель отпивал крепкий чай и курил, чего никогда он не делал на людях, — он был здесь как бы дома, на отдыхе, и говорил домашним негромким голосом, — этим как бы подчеркивал он установившееся равенство их положений. Он задал ему несколько деловых коротких вопросов, и вдруг сказал как бы с нарочитым доверием, чтобы он озаботился заранее о тех военных почестях, которые необходимо будет оказать начальнику в случае его смерти.

В сущности, этим и кончилась короткая их беседа, но заместитель спускался по лестнице и ехал далее на своей открытой машине с бьющимся сердцем. Он велел ехать не домой, где ждали его с обедом, а назад, он убеждал себя, что возвращается в служебный свой кабинет для того, чтобы сейчас же наметить те части, которые будут назначены для оказания последних почестей; что это его долг и

честь, чтобы почести были возможно торжественны, как почести вождю и учителю, — и он не мог признаться себе в том, что едет, чтобы остаться один в кабинете, где скоро будет он полновластен; чтобы утвердить себя в том, о чем думал он только украдкой и что теперь уже казалось ему естественным и неизбежным.

И он легко взбежал по лестнице, сел, чуть запыхавшись, в кресло и взялся за трубку, чтобы вызвать помощника и обсудить с ним вместе весь план, но вместо этого назвал номер своего домашнего телефона и бодрым, веселым голосом сказал жене, что опоздал, что страшно голоден и что скоро приедет к обеду.

II

Сестра, сменявшая на ночь дневную, опоздала на четверть часа. Она была обыкновенно очень аккуратна, как все стареющие безлюбые женщины; приходила минута в минуту на дежурства, исполняла с мелочной точностью все предписания врача, была с больными ровна, покойна и терпелива; очень чистоплотна; очень опытна. Она определяла зачастую судьбу больных еще задолго до решения врачей — одним безошибочным инстинктом и теми неуловимыми приметами, которые значили для нее более всех решений, историй болезней и догадок врачей. И уже в первый день, когда привезли сюда, в отдельную

лучшую палату, начальника, она еще до прихода врачей определила его судьбу и то, что жизни ему осталось две недели — не более. Она бы даже не могла объяснить, на чем строятся ее выводы — это было скорее как бы ощущение жизни или близкого ее завершения, которые она угадывала шестым чувством, рожденным в ней этой постоянной близостью к страданиям и смерти. И она знала еще ту слабую игру скулы профессора, которая означала, что он считает положение безнадежным, но он обязан принять все меры, направленные к удлинению жизни, наполнять мускулы сердца новым искусственным упорством, поддерживать горячечный бег крови. Но и она — раньше, и профессор — позднее, и еще два профессора — затем — все уже знали ту роковую изношенность сердца нового больного, которое не возстановить никакими способами, а можно только поддерживать, поддерживать страданиями, дозами, — и все уже точно сговорились играть в эту игру продолжения жизни, профессора приходили, перечитывали историю болезни, отменяли назначения, увеличивали дозы; сестры сменяли пузыри со льдом, облегчали ему желудок, усиленно питали, — но изношенный механизм слабел, зубцы стирались и не приводили в движение друг друга, — все медленно, неуклонно шло к тому последнему хаосу, когда в механизме все спутается, сотрется, станет.

И сестра, собираясь на дежурство в своей холостецкой несогретой комнате, аккуратно размерив

по деловым часикам в браслетке время, какое ей нужно, чтобы дождаться трамвая и проделать весь путь, — вспомнила вдруг, что забыла с утра промыть глаз маленькой кофейной собачонке, жившей у хозяйки в той же квартире. Она была очень сердобольна, жалостлива к животным, и аккуратно третий день промывала глаз искусанной собачонке. Времени в браслетке, оставалось в обрез, — но она подумала тотчас же, сама себе не признавшись в этом, что тот уже осужден все равно, а кофейная собачонка была умница, сторож, жестоко искусана в смышленный черный глазок, — и сестра деловито пошла за нею на кухню, привела ее и промыла ей глаз, и собачка доверчиво мигала здоровым, уже веселела и готовилась продолжать свою молодую собачью жизнь.

В коридорах была уже вечерняя тишина, в матовом свете редких лампочек отблескивали масляные стены, в палатах тяжело, горячечно спали больные, и спали глубоко и живительно — выздоравливающие. И хотя те, кто был болен, требовали больше ухода, забот и дежурств, — все бессознательно, профессора и простые сиделки, — больше помышляли о выздоравливающих, утверждавших обновленную жизнью их заботы, труды и безсонницы.

И профессор с блестящим розовым черепом, в слепительно-белом халате, одна из лучших и дорогих знаменитостей, и другой — старичек - профессор, седенький как пепел и низенький, и третий — с ро-

зовой шеей от хорошего питания, сорокапятилетний красавец с прекрасною гривой с легким серебром на висках — все имена, малые боги, — все играли в эту искусную игру, совещались, комбинировали, меняли решения, хотя все трое знали все давно наперед. Но первый из них — с розовым черепом — уже со второго своего посещения почувствовал разочарование: случай был обыкновенный и ничем не замечательный, а ему нужны были случаи только необыкновенные, сложные, которые собирал он для своих теорий и лекций, и он два уже раза прислал заместителя. И высокий красавец тоже охладел к пациенту — он привык к гениальным решениям, к новым способам, которые утверждали его славу и ловкость, а здесь было нечего делать, надо было только присутствовать при процессе, который нельзя изменить, и он уже бросился в другой случай, необычайно тяжелый, заранее предвкушая торжество добычливого ловца жизни. И только третий, пепельный старичек, одна из тех добросовестных посредственностей, которые избегают новых рискованных средств, а придерживаются старой испытанной школы — он один продолжал бывать аккуратнo — по своей обязанности, ровно расписанной в книжечке.

Он был сух, малоразговорчив, чрезвычайно занят; и начальник уже страдал от этого казавшегося невнимания к нему, как к обыкновенному рядовому больному. Ему все казалось, что его мало спрашивают, не уделяют ему достаточно времени

не окружают его тем уходом, на который имеет он право своим положением и значением для государства. В сущности, с того дня, как он почувствовал слабость, отсутствие сил — прошло немногим больше недели, и положение не ухудшилось для него никакими особенными страданиями, к нему были внимательны, его навещали, около него во все часы посещений находилась та, которая отдала ему свою молодость, — он уже считал себя незаслуженно забытым, он не верил ей, мучил ее разспросами и догадками, которые распалял в себе без всякого повода. Первые дни, когда он лежал еще у себя на квартире, он хотел быть в курсе всех дел, он велел докладывать ему обо всем происходящем, — но уже через два дня никто не приехал, и хотя врач и запретил ему заниматься делами, он объяснил себе это невниманием, происками заместителя, взволновался — все это кончилось новым припадком, от которого очнулся он только в этой масляно-серой палате, где должен был уже остаться до конца.

Его дважды посетил сын, молодой удачливый инженер, чрезвычайно на него похожий. Он очень любил отца, всегда им гордился, — был очень озабочен, огорчен его болезнью; это он бросился к знаменитостям, навез ему цветов, вина, — но наступило вдруг некое улучшение, и как все молодые, здоровые люди, он быстро успокоился, поверил в хороший исход — и снова уже погрузился в свою деловую кипучую жизнь, которая неожиданно бле-

снула ему заграничною командировкою с ответственным и увлекательным поручением. Он, правда, ежедневно осведомлялся по телефону, но ответы были односложны, ухудшения не наступало, и он отдался со всей своей молодой предприимчивостью открывшейся возможности. Он рассчитывал, что командировка эта послужит началом его большой карьеры, даст ему опыт и деньги, — словом, все то, чем строится и сколачивается жизнь. И он обрел прежнюю, незатуманенную веселость духа и волю к жизни.

В различных частях, при поверках и сборах, сообщалось о болезни начальника, читались тексты тех пожеланий, которые посылали ему со всех концов, — и все триста, пятьсот, тысяча здоровых парней, только-только отшедших от утреннего крепкого сна, дыша морозными дымками на холодеющем утре, посылали сочувствие, свертывали цыгарки; отправлялись с подсумками, песнями на занятия. И в громадном белоколонном зале, где собрались из канцелярий всех этажей, заместитель тоже предлагал послать ему пожелания, и все сочувственно и охотно подписывали лист, потому что собрание было созвано за полчаса до конца занятий, и можно было прямо с собрания идти по домам, и потому еще, что в этот день выдали, наконец, наградные, которых все ждали два месяца, — и теперь всем — молодым машинисткам и старичкам-генералам — всем одинаково хотелось поскорей в эту сумасшедшую, неверную и великолепную жизнь.

За эти дни март тронулся, и началась весна. Люди еще выползали на улицы, точно слежавшиеся зимние шубы, но плечам под пальто и шинелями было жарко от солнца, женщины были бледны и прекрасно утомлены, и неожиданно стали слышны во дворах петухи. Все это шумело, несло ручьями с шумом срывалось в сточные трубы — март догнал свечей пред апрелем.

И тот, пальцам которого подчинялась до этих пор вся трудная, сложная система, раскинутая на карте страны, нити, сплетенные им с таким трудом и упорством, продолжавшие жить и пульсировать и без него, — у того не было теперь никакой уже власти, даже над собою самим, отданным в руки врачей, сестер и сиделок. Он перешел в круг других интересов, разделенных на еду, страдания, осмотра и на единственные, неповторяемые часы близости с той, которая единственно осталась с ним. Она была еще очень молода, впервые узнала горе, и сначала лишь ужас и пустота овладели ею; она весь первый день не знала, куда себя девать, не знала конца слезам, — но уже на второе утро она поднялась деловито, полная женской решимости быть подле него, отдать себя всю до конца заботе о нем. Она выходила из дому заранее, чтобы не пропустить ни одной минуты свиданья, — она изучила весь этот путь через талый мартовский город, коричнево-мутными бульварами, мимо развалин домов, площадей в стылых лужах, мимо самодовольно-

красного рака пивной, скучных желтых казарм, к тому заваленному снегом проулку, где к коричневой сети деревьев сада обращены были большие холодные стекла. Она трепетала первые дни, сидя подле него, наблюдая его глухую борьбу, — но мало по малу острота первого ужаса становилась глуше, жизнь ее уже точно разметилась между часами приема; путь через город, в котором она различала сначала лишь камни, туманы, развалины домов, — пересекая вдруг лицами, живыми лицами людей, которые входили в трамвай, выходили, были еще по-зимнему озабочены, но солнце сияло битым стеклом луж, желтоватым теплом наполняя трамвай, рак над пивной просвечивал винно-красно на солнце, и за стеклом сидели люди, пили пиво и улыбались.

То улучшение которое наступило, успокоило и ее, она тоже поверила в хороший исход, раз опоздала на несколько минут, и раз ощутила в трамвае, что хорошо бы проехать мимо, дальше, бульварами, полным кругом, не слышать больше упреков и подозрений, навстречу этим золотым пригоршням света и жизни, — но она даже не призналась себе в этой глубоко всколыхнувшейся мысли, — она была с ним в этот день нежнее, чем обычно, и возвращалась успокоенная собою. На другое утро в том же трамвае, глядя в окно вагона, она ощутила на себе взгляд: смотревший был молод, с веселыми голубыми глазами и бритой нежной губой; он смотрел беспечно,

как веселый бездельник, и показался ей выходцем из другой жизни.

В этот вечер март рухнул, шумя всю ночь ливнем, ветром и гулом, — и утром был тишайший легкий апрель. Воды неслись с ревом, мир был звонок, гулок и прозрачен, и в это утро казалось, что никакой беды не может быть и что все будет легко и чудесно, а если бы даже и случилась беда, непоправимое, — все ли так уж непоправимо, когда за раскрытым окном глубокий апрельский дух и золотые короткие ливни. И в этот апрельский день, когда она поверила, что все будет хорошо, и на площадке трамвая, увидев снова те же веселые голубые глаза, уже на миг не отвела от них взгляда, — в этот день то, что все они считали улучшением и что было, в сущности, малым лишь замедлением, — все это рухнуло вдруг, как март в одну ночь, и понеслось к последнему хаосу. Изношенное не возстанавливалось, оно только в последнем стремительном беге стирало все зубцы; и тот, кто лишь недели назад был сильным и полным волею к жизни, к труду, к ревливой власти, меньше всего думавший о конце, существо одаренное, богатое знанием, поздней глубокою страстью, — все это в одну только ночь превратилось в развалины, еще по тупой инерции продолжая механическое бессмыслие жизни, уже полное одного лишь животного тупого страдания.

Сестра, дежурившая в эту ночь, не разбудила врача. Она знала все сама из давнего опыта, лед

был положен, сильные средства впрыснуты, и то, что случилось с ним, было для нее лишь логическим завершением прошлой ночи, когда больной потребовал платья, машину, чтобы ехать домой — это были обычные последние сборы. И она во всем распорядилась сама, и сама же ответила на ночной телефонный запрос, что сейчас все палаты заняты, но что к утру, вероятно, одна освободится, и можно будет привезти нового больного. Она очень хотела, чтобы все кончилось до утра и чтобы можно было вынести его из палаты, пока еще спали другие больные. Но он умирал мучительно долго, все утро и часть дня; и сын, и та, которая, обезумев, приехала утром, — все ожидали этого часа, казавшегося невозможным и которого все хотели скорее.

И уже часом спустя, после того как в последний раз дрогнули его веки и полились тончайшей желтизной, сын с заплаканными еще глазами звонил по телефону: жизнь оставалась стремительно бегущей, не знающей часов раздумия или печали; она требовала забот, распоряжений, телефонных звонков, и уже в пятый раз с ночи запрашивали, освободилась ли палата и можно ли привезти нового больного, пока дежурный врач не ответил, что палата освободилась и можно больного везти. И хотя двери палат были закрыты, пока его выносили в часовню, все больные уже знали о смерти, и все, даже те, кто хотел ее для себя, как разрешение безмерных страданий, — все в этот миг хотели жить, жить

во что бы то ни стало, быть покорными, исполнять все предписания, только бы жить. За окнами был яркий теплый апрель, снег в саду таял и чернел, и в черных шапках гнезд начиналась жизнь.

И еще часом спустя поднимали уже на скрипящих носилках нового больного — все шло своим порядком, и заместитель объявлял приказом о дне похорон начальника и о том, какие части примут участие в траурном шествии. План этот был разработан до мелочей, венки и цветы заказаны уже несколько дней назад — все было предусмотрено, и заместитель знал, что приказ о его назначении начальником, подписан уже три дня назад, и ему казалось теперь, что он искренно скорбит об ушедшем, о его превосходном уме и таланте. Он назначил двоих наиболее исполнительных сотрудников распорядителями, и они обо всем позаботились, заказали все что нужно, носились на автомобиле по городу, и уже к вечеру перевезен был начальник в тот громадный двухсветный зал, где только недавно вел он беседы и в котором торжественно затерялся теперь в массе крепа, тяжелой парчи, цветов, в травянистом запахе зелени и воска.

III

Люди, разбуженные в дортуарах горнистом, крикали, зевали, отхаркивались; бежали к десяткам медных кранов умывальников, плескались и вкусно

фыркали, блестя обритыми на весну моржовыми головами и до красноты натирая полотенцами шеи. Они все были как звери на водопое, пускали друг в друга прижатой пальцем струей, как мальчишки, гоготали, на разные манеры и ноты полоскали горло, чистили здоровые белые зубы, натягивали, сидя на постелях, щегольские сапоги, заправляя рубахи в штаны, напевая отстоявшимися голосами — все, как всегда перед занятиями. Они пили затем в сводчатой столовой из кружек чай, с удовольствием обжигая горло и хрустя прочно сахаром, напихивали рты хлебом, предвкушая долгую необычную прогулку, осведомляясь, что будет к обеду. Это были все молодцы, не старше двадцатипяти лет, все в круглых шишках мускулов от трапедий, бега, футбола, гимнастики. Все были рады весне, теплу, прогулке, необычайному шествию, в котором примут участие, мало задумываясь о его причинах.

Части, назначенные для участия в процессии, были всех родов оружия. По заранее размеченной диспозиции, они должны были расположиться по пути шествия, вливаясь в процессию правильными интервалами и растягиваясь торжественно на версту, с таким расчетом, чтобы пехотные части чередовались с конными, замыкаясь артиллерией, которая грохотом не должна была мешать двум игравшим в смену оркестрам. И уже час спустя первая рота, под медное стenanье оркестра, выносила торжественно крас-

ный гроб и водружала его на лафет, на котором сурово был должен отбыть начальник, как старый воин. Солнце прорывало тучи, город загорался желтым пламенем, постепенно заполнявшимся тенью молочных облаков; тогда становилось прохладно, по-осеннему серовато, и пронзительней взывали медные глотки оркестра.

Первая рота, выносившая гроб и сопровождавшая его почетным эскортом, была слажена из наиболее рослых, уже готовых к выпуску молодых щеголеватых людей; они были довольны выпавшей на их долю обязанностью разсматривали все это шествие, как образцовый парад, в котором они играли почетную и заметную роль. И они мало думали о том, кого они сопровождали и кто мерно плыл на лафете под грудами цветов и венками, со старенькой одинокой фуражкой на крышке красного гроба: он был мертв и не видел, а кругом были живые, видящие, был новый начальник, перед которым они еще не проходили, и всем им казалось, что все это шествие только для торжества их ловкости, спайки и молодого тщеславия. И они мерно и бодро шли позади лафета, штыки в одну линию, излишне щеголяя выправкой, приноравливая прочный шаг к медным тактам оркестра.

По диспозиции конная часть вливалась в интервал между первой и второй ротой, и конная часть, ожидавшая на площади, разом колыхнулась, тронулась, зацокала копытами, звеня треньзелями, под-

тягивая мундштуками пенные морды лошадей; лошади, все карачовые как на подбор, все с белыми отметинами на ногах, точно родные сестры, — нервно ставили уши на беспокойство и звуки оркестра, грызли мундштуки, круто перебирая ногами. Особенно горячилась и ставила острые нервные уши молоденькая веселая кобылка, крайняя на левом фланге: дело в том, что между ней и высоким гнедым жеребцом из второго взвода, еще когда строились части на площади, завязалась любовь. Все время жеребец, высекая искры копытом, беспокоил ее длительным и страстным ржанием, и кобылка коротко отвечала ему, грызя взмыленный мундштук. И сейчас, рванувшись от шенкеля, она подразнила его коротким взволнованным ржанием и покосилась назад, где он еще оставался стоять, гневно высекая ногой, готовый ринуться за нею вослед, с прижатой поводьями головой. Она несколько раз позвала его, пока не ответил он пронзительным ржанием, что следует за ней. Второй взвод, пропустив пехотную часть, вливался с пиками в шествие. Всадники, тоже все рослые, покачиваясь в седлах и скрипя кожей подкрыльев, так же радовались весне, своей силе, лошеным щеголеватым лошадам, бывшим в хорошем порядке, звонким переκληкам кобылки и жеребца.

Музыка, устлавшая путь медным рыданьем, временами умолкала, и тогда слышался мерный стук тысячи тяжелых сапог, беспорядочный цок подков, позвякиванье уздечек, громохание артиллерии и прон-

зительные вопли жеребца, вовсе терявшего терпение. И потому, что ржали кони, и люди, ехавшие на них были все ловки, прочны — все рослая, отборная порода, и потому, что оркестр далеко отдавался в зеленеющих рощах, как походная бодрая музыка, — никто не думал о смерти и о том, что хоронят человека, который упорным трудом достиг всей этой торжественной славы, — а всем особенно хотелось жить, дышать незатуманенным сыроватым воздухом перелесков, тех коричневатых весенних просторов, которые открывались за городом. И всадники, проезжая под зацветающими тополями, все сорвали себе по душистой ветке, едва поросшей сережками, и прикрепили к фуражкам и седлам, и с веток градом срывались большие свежие капли ночного дождя. Тополя зацветали, уже глубоко проливались липы клейкими запахами, и первая зелень была еще ядовито-ярка. Там, за городом, сизели весенние леса, коричневатые взгорья — дольный простор с кочующими легкими облаками. День еще и другой — и вся эта легчайшая голубизна прольется над миром безпечностью летних дней, жизнью зацветающей каждый год в положенный срок.

Вторая пехотная часть, шедшая за кавалерией, была мелкорослее, ни на какое особое отличие не надеялась и не очень заботилась о нем; это все были парни голенастые, хорошие певуны с гиком и подсвистом, ловкачи на выдумки, — и сейчас вся часть была занята тем, что незаметно потешались

над крайним право-фланговым, главной заводиловкой и мастером на всякие штуки. Это был долговязый парень, с подвижным плутоватым лицом, которому мог он мгновенно придать любую серьезность. Его звали уменьшительно Рюхой за долговязость, и он откликался с веселой готовностью дать подзатыльник, сбить с толку, рассмешить во время занятий. И сейчас, начиная скучать от пути, он подражал ротному, шедшему впереди, до- смешного малому и затутому, с розовым безусым лицом, в походных ремнях и с громадной желтой кобурой, бившейся о жирную ляжку. Рюха пучил глаза, приседал незаметно, семенил ножками, и вся рота, взбодренная смехом и мыслью о скором отдыхе и обеде, к которому предстояла сегодня двойная мясная порция, бодро шагала.

Часть за частью, шишаки, шлемы, пики, лошади — заполняли пространство, останавливая трамваи, собирая публику, предшествуемые тучами мальчишек, старавшихся попасть в ногу. Оркестры отдавались далеко, и публика из трамваев и из окон домов высывалась, довольная передышкой в деловом дне; только мотоциклеты обгоняли с треском равнодушные ко всему, кроме своего пути. Там, впереди, в зелени, полуприкрытый боевым знаменем, баюкаемый надгробным рыданьем, плыл тот, кто знал суровый Урал, и неприступный Сиваш, и туркестанские степи. Он узнал победу и славу, но победа и слава были нужны для живых, и поезда с живыми

людьми одолевали хребет Урала, и разбивала трудовая мотыга Сиваш, и торговые караваны шли туркестанскою степью. И для живых — восходила весна, дальними петушиными голосами эвенел загородный простор, была неизменно зацветающая жизнь. Она зацветала вопреки всему, вопреки горю, страданию и смерти, и в этом была ее жестокая вечность — над малой человеческой судьбой и над короткою славой.

Кладбище за монастырской стеной было в буйном первом расцвете — под простором и облаками; и части, уже истомляемые понемногу жаждой, подтягивались, ожидая привала и тени. Ординарец, хорошенький юноша, назначенный для поддержания порядка, всю дорогу скакал на серой сытой лошадке от части к части; лошадка весело временами начинала заскакивать, он был возбужден, доволен своею ролью, горячил лошадку. И сейчас, пригибаясь к седлу, он весело поскакал мимо частей, пока подтягивались те у входа, образуя каре, в котором сияли на солнце золотые надписи знамен и алел гроб в пушистой пене цветов. И так как части, в которых были гнедой жеребец и кобылка, расположились насупротив, жеребцу не нужно было теперь втягивать воздух, чтобы почуять кобылку, он видел ее впереди, и она отвечала ему уже не задорно, а томным, глубоким голосом, им вторили другие жеребцы и кобылы, страстно надрывая весеннюю тишину, пока не грянули густо оркестры и ало не поплыл

вглубь ворот поверх плеч и голов вишневый медленный гроб.

И тотчас же, едва вплыл он в глубину и влилась за ним первая часть, штыками царапая бирюзу весеннего неба,—тотчас же снова картаво заиграл горнист на рожке, и весело поскакал ординарец, передавая команду — сдвинуть ряды и возвращаться частям по домам. С цоком подков, с мерным стуком сворачивались тысячные массы, вытягиваясь в поток, — и едва лишь пехота влилась на широкую по летнему уже подсыхающую улицу, как тотчас же на рысях обогнала ее конная часть, с плеском разбрызгивая лужи, уже заражаясь этой лихостью скачки и горяча лошадей, — в дожде сияющих брызг, закидывая пехоту лепешками. И пехота, сама ошеломленная этим полетом, отругиваясь сначала, тоже заразилась их лихостью. Сдирая фуражки, подставив солнцу загорелые мокрые лбы, она провожала их свистом, и вдруг кто-то из середины вытянул заливчато тенорком первую фразу солдатской походной песни; он забрал высоко, переборами, и разом, вслед тенорку, обрушилась громада голосов, разбиваясь о стены, как бы раздвигая собою улицы, проникая грохотом в переулки, а тенорок все вытягивал и вытягивал в промежутках свое, и снова голоса рушились грохотом, пока отбивали камни сотни тяжелых сапог. Тенорок был весел и неумен, он будоражил всех и втягивал самых хмурых, — раскрывались зыком прочные глотки, сияли крепкие зубы и потные круглые лбы, и уже

подхватывало сзади с гиком и посвистом. И люди спешившие по своим делам, все поворачивали головы и просветлялись, потому что выкидывал тенорок голоском коленца, и все, певшие вначале старательно, теперь улыбались, втягиваясь в эту круговую поруку голосов, заражаясь лихостью и бодростью жизни. Конные части, пронесившиеся назад под то полями, срывали на лету ветки, состязаясь в ловкости и норовя захватить подлиннее, лошади перекликались на лету ржанием, и молодому ординарцу, скакавшему теперь в карьер на серой лошадке, казалось, что ведет он в бой свою лихую конную часть.

Когда все было кончено, и под залпы закидан холм цветами и алыми лентами, — заместитель возвращался к своей открытой машине. Он ехал назад деловито, работа ждала и требовала его, — но солнце било в глаза, машина ехала неспеша по провинциальной тенистой улице, и он вдруг с облегчением подумал, что можно вернуться не тотчас же, а заехать домой. И он представил себе, как обрадуется жена этому его неожиданному возвращению, мгновенно наполнился дикою нежностью, вообразил этот голубой обожаемый пламень глаз, и велел ехать домой. Он почувствовал вдруг свои тридцать два года, мало растраченные, силу в руках, ту драгоценную тяжесть, какой была для него в жизни жена, легко взбежал по лестнице, открыл ключем дверь и пробежал далее в комнаты. Она стояла в

утреннем платье, с пыльной тряпкой в руке, вся домашняя, светлая, восторженно удивленная; он взял ее за руки, он хотел сказать все, что почувствовал по дороге, но не сказал ничего, потому что то, что перекинулось между ними, было сильнее слов. И он понес ее на руках, смятенную, трепетную, ждущую,— и на этот раз все было так сильно и значительно, как никогда прежде. Двадцать всего лишь минут ждала его машина, и уже через двадцать минут она везла его дальше, полного счастья, сил, желанья труда и жизни.

IV

За одну ночь, разразившуюся ливнем и первой грозой, мир преобразился. Всю ночь из тяжелых лиловых туч неслись потоки, к утру гроза прошла, воздух налился чудесной дождевою прохладой. И за одну ночь распустились деревья. То, что еще туго собиралось почками, лопнуло вдруг и пролилось первой листвою, на кладбище буйно возшла трава, широким остро-зеленым разливом первобытного пастбища. И та, которой казалось, что с жизнью в ней все уже кончено и которая бывала здесь каждый день,—она ощутила вдруг, идя по сыроватой дорожке, глубокое смутное томление. Она находила уже некую затаенную радость жизни в том, чтобы слушать здесь, в тишине, ход весенних дней, дальний шум города, скитальческие гудки паровозов, гово-

рящие о просторах и о горчайшей сладости жизни—скитаниях; и ей хотелось уже этих скитаний — бездумных, блаженных, сулящих нежданные встречи...

В этот день, к вечеру, ее посетил его сын. Смерть отца, дела, полученная, наконец, командировка — все это давно смешалось в деловой его жизни, — и он уже несколько раз давал себе слово побывать у той, связи отца с которой он не одобрял и которая казалась ему существом обыкновенным, безцветным и отца недостойным. Он ожидал, что его неожиданный приход смутит ее и внутренне готовился к тому, чтобы ободрить ее и смягчить для нее остроту положения. Но она встретила его, полная достоинства, как молодая вдова; она была прелестна в своей печали, с этим удивительным блеском живых темных глаз, и он сам ощутил смущение и легкое волнение от близости к этой молодой женщине, которую избрал его отец в неравные спутницы. Он был очень похож на отца, такого же высокого роста, с очень нежным синеватым от бритья лицом, — и вдруг — в обоих них — глубоко, под тягчайшим грузом растерянности, пробудилась одна и та же мысль, что прежнее — неравное — было лишь временным, и что теперь все могло бы быть чудесно равно — она была моложе него всего на несколько лет, очаровательна своей суровой сдержанностью, печалью о том, кто был ему так же близок, и сердце его вдруг колыхнулось... Она глядела на него чуть туманно, очень нежно — он так

походил на того, кого она любила, и в сущности, кому бы больше по праву могли принадлежать ее забота и сердце: оба они были связаны с одним, и переходили друг другу по наследству.

Но он тотчас же прогнал учтивой холодной фразой это чувство, и она подавила в себе эту мгновенную нежнейшую нежность. Он поговорил о делах, о последних днях отца и простился, обещая зайти еще до отъезда. Он деловито спустился по лестнице, перешел переулок и вдруг оглянулся назад, на ее окно. Она стояла в окне, провожая его долгим туманным взглядом. И он понял по тому, как забилося вдруг его сердце, что не только еще придет до отъезда, а не может не притти, и что, может быть, если б нужен был выбор — уехать или придти сюда еще раз, он бы никуда не уехал. И на этот раз она не могла понять, почему, отойдя от окна, она заплакала вдруг такими томительными и блаженными слезами, каких никогда не знала и которые так не походили на те слезы скорби и ужаса, которыми она оплакивала того.

Ноябрь 1923.

Москва.

З Е М Л Я

На Поклон-горе — там, где рушатся ветры с се-
зера земли, с востока и запада, — крепок кремль:
красной осыпью, сырыми церквями, чугунными пли-
гами могил. На Поклон-гору взойдешь — сто раз го-
лову запрокинешь, небу поклонись, оттого и Пок-
лон-гора. А с кремля простор: со всех кремлей
русских одинаково — даль страны немеренной, луга
со стожками, и голубые разломы рек, и сизоватые дымы
лесов — смолой пахнет Ветлуга, свежим деревом пиле-
ным и чадком лесопилок. А с Поклон-горы, с крем-
ля поклонского — особо: Кама, степенная, краси-
цей застенчивой, крепкотелой — такой вот, что гла-
зом серым поведет — и мята на сердце, в холодке
плывет. Чужедальний кто взберется под вечер — а
поклонским люто опостытели горы, весь лежит на
пяти холмах, и с гор вода когда — ни кверху взоб-
раться, ни книзу сойти, — вдохнет чужедальний про-
стору: воздух — вино степное, скифский хмель, голову
сразу сладко заведет, Кама в пожаре — словно вот
разожглась на минуту, и уже заглубилась, и похоло-
дела нежно-сиреневая, и не то венчальную, не то
погребальную опустил в нее месяц восковую свечу.
Вечерами глух кремль, дик и суров, как русский

юрод древний. На оползнях осыпи кирпича—и далеко виден с вечернего парохода: в вышине лебединой, прохладной, легчайшей. На пяти холмах город лежит острожно. Пески да тес серый, все дома под цвет, частоколы, и город-острог. Люди на пароходах посмотрят, как лежит город в межгорьи, на песок рыжий, на серый тес—заскучают вдруг: нехорошо живут люди, скушно. И кто кремль здесь строил—дикарь какой, скиф—от гордыни и одиночества.

Прежде выносили монахи на пристань живую стерлядку, мед липовый—самотек, целебный мед,—близко до Златоуста, до пчелиного древнего царства. Теперь разогнали монахов—выползали белые, тучные, как личинки, с сальными кудрями, с брюхами женскими,—хорошо кормил монахов Поклонск, сытно, славили купцы бога, да и весь Поклонск, как купеческое поместье одно: все Курепов строил, храм куреповский, ряды торговые куреповские, пароходы по Каме, а под самый конец лебедем белым пошел теплоход—снег да медь—лебедем затрубил над Камой вечереющей. Стоят куреповские ряды битые, стекло, железо, речной ветер гуляет; в доме высоко—на взгорье, словно гусь белый присел на лету на купы дерев,—в белом доме Курепова—детский дом, в окнах лица пичужные, сиротские, и в весение дни много голосов детских в Поклонске, крика и кораблей по ручьям, отчего весь он уютливей, мягче и теплей.

По ночам—глухомань, черен город по взгорью, ветер бродит просторно, только сальный один светляк в кремле, над городом:—остался в кремле жить, в каменном приделе, над самою кручей, богомаз Юстин. Давно уже ссохся он, почернел, сам как икона новгородская, глаза запавшие, черные, кудри—чернь да соль—под шляпою куполом,—человек молчаливый, сумрак. Юстиновскими иконами много торговали монахи, знали их далеко по Каме до самой Перми и дальше—на Сибирь, и по Волге знали до Каспия. И у святых его такие же были глаза, черные, острые,—вот отчего—пронзительностью своей славились его иконы. Монахов разогнали, богомаза оставили: был он безвреден, художник немалый, остался Юстин жить в кремле: дико жил, голодно; желтизной тончайшей покрылся, спустится в город когда идет—в шляпе своей куполом пыльным, с палкой узловатой,—словно камень сошел.

Скучно жить в Поклонске, службишку свою волочат, о прошлом вздохнут; старушонки курослепые в храм приползут, повздыхают мотомно,—да по-прежнему причалит когда пароход, полна пристань народа: молодым взглядом с проезжим кем перекинуться, старикам вспомнать, поглядеть вслед жизни, далеко идет пароход, к большим городам. Да и те, кому жизнь делать,—пошлют их в Поклонск, сразу зашумят, заворочают, начнут жизнь гнать—месяц—другой прогоняют, да и сами пожухнут, посереют, как тес. Парохода встречать не выйдут,

а заскулит сердце, речной услыша гудок, несет кого-то судьба,—а здесь все тес, да пески, да кремль, гордынею окаянной взнесенный.

Под вечер много по Каме белых ушей заячьих — парусов досчаников, выезжают рыбаки ставить сети, и за смуглою медью закатной — голубизна. Долго плещется золото, меркнет, и вот уже сиренево-лиловата река, большие тени все шире, и разом полное решето звезд, засыплют реку стеклом битым, и далеко тяжело идет пароход, как зверь. Берегом вдоль, на пять верст к затону — ватаги: на куреповских промыслах много прежде рыбы солили красной, богато водное чрево Камы, не оберешь: камская рыба волжской не в пример — мягче, дородней, стерлядь на жабрах шире, — долго стояли ватаги пустые, рыбы народилось за годы эти, дичи развелось, — вечерами на островки летят утки четками, тока под городом тетеревинные — богатый край, золотая мошна.

Прислали из большого города в край этот: птиц небитых, рыбы неловленной — живого человека золото раскапывать. Живого человека сняли с работы, послали сюда — восстановить промысла, пустить ватаги, наладить добычу; живого человека посылали за год в пятое место, снимали с работы что месяц — наедет, разбередит, пустит — и дальше уже срывается — где воля нужна, сметка, голос, решительность. Много людей таких вышло из ленивой Рассеи трудной — где разоспится, да где покумекает — новым пластом отложились по черно-

земью, по российскому тучному черноземью нерадивому: глаза вострые, шильца, голос—как крик, сапоги да фуражка—и весь человек: сегодня с винтовкой шагает, с фронта на фронт, завтра лоб трудно мусолит: черный, мертвый пускает завод. Приехал живой человек—у живого человека скулы монгольские чуть, много кровей понес—русской, монгольской, татарской, имя человеку—кто имя теперь запоминает—два слова коротких: товарищ Курдыш. Сразу город разворошил, людей нагнал—ватаги чистить, чешую рыбу многолетнюю скрести, сетей навез, растянули на кольях, досчаники смолили,—забилась снова в сетях тяжелая рыба, свежей платиновой чешуей берег заблестел, рыбной вонью знакомой запахло по старому. Не стал Курдыш в белом доме куреповском жить, снял дом у вдовы, над крутью, над самыми огородами—по осени усыпаны склоны зелеными арбузами, как жабами; в нем стал жить—верней не жил: день на промысле, рыбьей пропахнет, свежестью речною, вечерами в затоны,—так уж устроена порода этих людей: до износа. И где перекусит, чем запьет—с солильщиками свежинки на полевом огне, на заседании морковного жидея; ночью придет—камнем. Заведет дело, пустит—заскучает: на новые потянет места, на новое дело. А что о жизни такой в Поклонске знают, вот завяжутся на склонах арбузы, запахнет от Златоуста свежим медом, киргизскими шапками с Астрахани виноград повезут—пришла осень.

В праздник в Поклонске шалют люди от скуки, колокол собора позвякает,—в праздник сиво в Поклонске, залушено, одурь такая—стоит над горой рыжее стозвонное солнце, долог праздничный день, и что в нем делать от скуки—не придумаешь. И в первый праздник пошел Курдыш посмотреть город: серые дома да заборы, то вниз срывом, то кверху—балкончиками, будками собачьими во дворах; псы как репейники, не передохли еще где,—тявкают по привычке, но уже без усердия,—городил кто город этот—бестолковый, неприятный, рассейский. И на кремль Курдыш поднялся, долго взбирался, Кама голубая, поемные луга теплые, пароходишко старается, тужится: беляна степенная, как вдова белотелая, раскинулась. И, может быть, впервые за годы эти—беготни, суеты, тревог, бежать все куда-то—задумался Курдыш, мир узнал: востерок холодком бежит, на веках—прохлада, и вдруг ломота такая сладкая, словно солнце в костях и ветер, так бы лежать камнем мшальм: годы, лета, века. Кто одиночество знал—на древних кремлях русских—в Новгороде ли Нижнем, во Пскове ли: лежит везде внизу—родина неисхоженная далью веков и судеб. Войнами мерилась, курганами насыпалась, кроилась усобицами—и сейчас усобицами мерится—за земную правду какую-то, не всеми чужую; одни только чуют по-настоящему—молодь вот эта: скороспелая, войною обглоданная, войною впоенная.

Долго кремлем ходил, дикостью этой Курдыш, стрижи да касатки, да ветер древний, да Русь, какую в крови нес: степная, татарская. И одного человека только встретил на всем просторе: брови как кисти, шляпа пыльная куполом, а под куполом — глаза, пронзительные, как на иконе новгородской. В глаза поглядели друг другу, спросил Курдыш коротко, как всегда с людьми говорил: коротко, срывом как-то — некогда говорить, всегда на ходу:

— Монах?

Ответил человек — голос, как часы башенные, словно час пробили:

— Нет.

— А кто?

— Человек.

— Это вижу.

Поглядел Курдыш, понравился ему человек древний: говорит скупом кто, глаз не отводит — значит, правду свою имеет.

— А живешь где?

— Здесь.

— Один?

— Один.

— Отшельник, что ли?

Ответил презрительно человек:

— Художник.

Видит Курдыш: не лжет человек, глаз левый щурит, его словно примеривает — как лучше взять — сбоку ли, прямо ль; спросил:

— Гордости, что ли, много, что от людей ушел? Внизу надо жить, а здесь—плесень одна.

Усмехнулся человек:

— С людьми скорее плесень покроет. Здесь ветер обдувает.

Посмотрел еще Курдыш на брови косматые, на пыльный купол, сказал деловито вдруг, просто, словно давно все обдумал:

— Художника нам и надо. А то здесь детей учить некому.

Так просто сказал, что мигнул человек даже, сошлись косматые брови, разошлись; опять—словно два пробило:

— Богомаз я.

— Это что же?—свертывал Курдыш собачью ножку.—Не курите? Ничего махорка. Я скручу.

Взял человек желтыми пальцами ножку, затянулся—плывет дымок синий, махорочный, а махорочный дымок—дружеский, так уж на Руси повелось: плывут два дымка кислых, в один свиваются—сошлись на минуту две души человечесьи.

— Это что же—богомаз?

— Иконы писал.

— Бросить надо. Иконы сейчас ни к чему. Сейчас Россию не иконами строить надо. Вот вы плакат лучше нарисуйте, чтобы паровозов больше чинили, а то у нас—гниль одна...

Опять сказал человек—словно три пробило:

— Монахов зря разогнали.

— Эва, о чем вы! Монахи—бездельники, тунеяды. От них на Руси вся лень пошла. Здесь дело надо делать. Тут в кремле вот—электрическую станцию поставить, город осветить, механическую чистку рыбы наладить, а то у солильщиков вот язвы от соли, разве это человеческое дело.—Говорил спокойно, дымок пускал.—Монахи на ваших иконах наживались, много ли радости? А у нас живое дело—детей учить надо, всю Россию учить надо. Нарисуйте плакат вот: кремль этот с одной стороны, заборы тесовые, ватаги внизу загнили, а с другой—станцию электрическую наверху, дома освещены, никакой обиды богу не будет, что человек облегчить другим жизнь хочет. Вот она—Россия наша, богатая страна, а что толку? Дико люди живут, лениво, скушно. Надо чтобы жить научились, жизнь славили, а не уходили от людей, как вы, например. Этого и бог ваш не примет, уверен я.

И опять дымки плывут, в один сливаются. А на Каме пожар, золотые щиты, разомлела от солнца, и пароходик белый что голубь меж двух грудей синеватых.

Сказал человек еще:

— Нельзя человеку человека убивать.

— Когда мир—нельзя, это верно. В миру человек строить должен и беречь жизнь другого: тут заповедь не хуже евангельской вашей. А когда война, когда человек щетиниться должен, как волк,

чтобы другой кто горло не перегрыз—какие тогда заповеди могут быть? Тогда кто сильней, да находчивей—тот и прав. Утверждается кровью жизнь—драка, ничего не сделаешь. Думаете—вы хорошо живете, от драки ушли? А драка ведь за что... за это вот—за Россию. Вот наша правда.

Знал Курдыш: две правды в день этот на древнем кремле сошлись: ковылем обе пахнут—так ковылями, степью шла Русь судьбою своей,—правда одна—скитская, на чем Кержань стоит, на чем отрекался человек веры крепкой от обид правящих, несправедности судов царских, да застенков, да поповской корысти, да войны смертной человеческой,—и другая новая правда—на чем заново Русь строится, кровью мерится человеческой, правда за счастье батрацкое, за того, кто смердом пребыл в веках да холопом—и за обоими правдами: Русь, Россия—вот как внизу разметалась: поемными лугами, простором, посконью да сермягой, великой нищетой и богатством великим, втуне лежащим.

Долго еще ходил Курдыш в этот день по древним стенам кремлевским, и рядом человек дикий шел, в церкви заходили сырые, беззвонные и ход потайной указал богوماз—сквозь всю Поклон-гору к самому затону: мшалым холодом могилы, вековой сырью кирпичной, проворными ящерицами—какая хитрость и окаянство человека строили кротовый

ход этот, не много ли тоски человеческой да крови несмытой узнал, а над всем—кроткие облака, козьей шерсткой пушатся—плывут неспеша, иную безмятежность человеку указывают. Вечерами в кустарниках по взгорью много шепота девьего, поцелуев да стонов голубиных, да хохотом низким гитара разсыплется,—и в первый, может быть, раз скушно стало человеку одному на высоте дикой, к людям захотелось, в грешную их и живую кучу:—и в зной сыро в каменных кремлевских приделах, ласточки с писком козьи облачка стригут, отстанет шерстка, закурчавится к вечеру, ниточками протянется, быть новому дню—погожим.

Три дня еще оставался наверху человек,—на стене горячей сидел, ящерица головку проворную с глазком агатовым высунет,—на четвертый под вечер спустился богомаз в город, улицами шел, как юрод древний, мальчишки сзади бежали,—пришел к Курдышу. Пришел и пробил:

— Пришел я.

Сказал Курдыш деловито:

— Вот и отлично. Завтра и приступайте. Детва хорошая, я вчера у них был—способные есть, очень.—Поглядел вдруг глазком узким, монгольским, улыбнулся:—А это вот—долгой все надо. Сапоги у меня есть, картуз тоже. Шинель мою возьмете. А лохмы—состричь надо, лохмы ни к чему. Надо, чтобы детва не дичилась: человек, как человек.

Сказал трудно тот:

— Я вот дни эти думал, про что говорили на-медни... о России. Может, и правда, что пропасти и нет вовсе, а только с двух концов разных подходим, и посередине—Россия, а кажется—пропасть...

Ответил Курдыш просто:

— Если честные люди—какая может быть пропасть? Дело одно—Россия, а сговориться—нетрудно, если корысти нет. А какая у вас корысть может быть—подрячник один был, подрясник и остался.—Коротко говорил, деловито—как привык: призывать, паровозы чинить, хлеб сдавать, под ружье итти—и всегда округ: трудные глаза, черные—сермяга.—А дело одно—общее—есть, дело и будем делать. Померьте шинель-то, должна быть в пору. А это все скинуть надо—плесенью пропахло. Охота—милостью человеческой жить, сам-то вы кто—духовный?

Ответил вдруг человек—словно развернулась пружина ржавая:

— Сын крепостного, богомаза же, Андрея Хри-санфова, на куреповском заводе фарфоровом в Ека-теринбурге замучен был злодейски, на чашке фар-форовой неправедность монахов изобразил, распут-ство епископское с откровицей Ксенией—опозорен-ной. Неведомые злодеи залили горло спящему со-ставом горячим фарфоровым. Завещанное мне, си-роте, искусство богомаза сохранил, посвятил изобра-жению великомучеников, к коим причисляю по пра-ведности жизни отца моего.

Увидал Курдыш вдруг: за плечами замшелыми богомаза: Русь дикую, крепостную, лучшие всходы человеческие именно составом горячим залитые, чтобы ростков не давали,—ту, может, Русь, за которую сам—годы по тюрьмам гнил, каторгу кандалами отзвонил, как все люди его племени, в лютую пору о России вольной возмечтавшие. Сказал Курдыш раздумчиво:

— По стопам отца итти надо было, несправедливость изображать. А икона что—морок один, тут свет нужен, много света. Двоих ребят делу научите, лучше за отца отомлитесь, чем сотней икон. Что ж, пропасти, видно, и нету никакой... пугами разными идем, верно, но дело—одно общее, вот оно дело,—широко окрест показал: на Русь, на Каму, на зелень, на синь.—Всегда я так думал и прежде, что бунт двух стихий есть—одной вашей—народной, из подспуда, только пути своего не нашедшей, и другой—нашей... только мы—жизнью шли, кровью, а вы—в изгнание уходили, в срубы, жизнь не хотели принять такой, какая есть, в постриге пути искали,—а постриг, по нашему, принять жизнь, а не уйти от нее.

Много говорил человек в этот день, словно пружина ржавая отошла в тепле—детство развертывалось сиротское, монашество черносхимное, да высь одна, да кручь, да кипарисные доски иконные, да смуглость ликов пронзительных... И крепко свивались махорочные дымки сизые—в один.

Утром пришел Юстин в куреповский белый дом: сивый, в шинели солдатской, патлы сострижены, черно-седые, сапоги тяжелые собитые—много в них Курдыш прошел фронтами—с Дона до Польши, с севера на Кавказ. Дичилась детва сперва, потом учуяла—чуют дети всегда безвредность человека, как звери,—притихли возле, рисовал он им птиц с пронзительными глазами, диковинных зверей,—пришел через день Курдыш, увидел: сидят рядами, щекою к бумаге, губы выпячивают, выводят; и увидел еще: не прежние запертые глаза, не сумрачность одинокую,—тепло в глазах, словно уголь горячий под пеплом, и сам человек теплей, уютливей, отогрелся... Крепко сошелся с детьми Юстин, уходил с ними на Каму, жгли вечерами костры, на рыбаков глядели, как сеть выезжают ставить, татарчат много было—пели песенки свои—сиротские, трахомные, невеселые, по кустарникам треск, возвращались усталые, тишиной пропахшие.

Надломилась осень, созрел хлеб, золотая пшеница поволжская—чаще уезжал Курдыш в уезд, тревожнее стало жить. Приезжали люди из уездов—хмурые, торопливые, торопливо в исполком проходили: зачиналась страда, перекатывался селами—мужичий бунт, не хотят мужики отдавать хлеб. Говорил Курдыш на сходах до хрипоты, стояли мужики кругом—сивые, мрачные, в землю глядели сумрачно, не подавались; из закут, из земли оружие откапывали—с которым еще по мазурским болотам, по Карпатам

ходили,—готовились крепко стоять за хлеб. И так началось: забили мужики паренька—литого, сине-глазого, что за день к Курдышу приезжал,—надсмехательски забыли, как спокон на Руси убивали—ни молодости не жалея, ни страдания человеческого. И как забили, пошло, словно свежинки в неволе зверь испробовал: запылял уезд, по ночам живьем жгли людей, что за хлебом приехали,—покатилась мужицкая вольница неумная, а за вольницей по пятам шли те, что полгода назад гнались люто, и за все: за лютость ухода своего, за обиду, за деленную землю—крепко платили, пароходы захватывали, вольность и достаток такой обещали, что кружилась мужицкая голова; и у рыбарей поклонских, у солильщиков в затоне—закружились: выползли в ночь одну в Поклонске те, что в углах притаились, под половицами, запылял город, колокола зазвонили, как давно не звонили, набатом,—далеко по Каме в осеннюю эту страду набаты слышны были. Опустел город, обезвластел, вели исполкомских,—шли белые, сапоги да тужурки кожаные—надрывалась толпа: „Что кожаные, попались. Спустим теперь кожу вашу“!.. Прибежал задами Курдыш в дом, бумаги какие на свече сжег, револьвер осмотрел—шесть пуль в обойме, седьмая в дуле, зуоы как зверь оскалил, стал ждать: никуда не уйти, всякий знает, пальцем укажет. По стене распластался, ждет; застонал даже, когда по стеклу ногтем легонько постукал кто-то, шею к окну вытягивал: стоит богомаз,

патлы под картузом, пальцем манит. Отсырела пружина словно, шепотком развертывалась.

— Шляпу мою надевай, цела шляпа-то? подрясник куда девал? Чего зубы скалить, милости не жди. Задами пройдем, до Поклонской дойдем, пушай ищут. Да ворочайся.

Шагал Курдыш огородами, как никогда не шагал: хлюпает подрясник в ногах, шляпа итальянская куполом, вел Юстин огородами, в заборе доска где вынута—крепко знал город, мыший лаз. И раз только, или почудилось—прижались глаза человеческие к стеклу и ладошка у глаз, чтобы лучше увидеть, смотрели глаза в черноте. Вывел Юстин к дикой круче, вел дорогою птичьей, по кустарникам, через осыпи кремлевские кирпичные, сквозь водосток мшальный за стену выбрались: опять простор черный, лежит город внизу, звон колокольный прядает—и зарево полыхает, зажгли внизу ватаги рыболовные—его труд многомесячный, стиснул зубы Курдыш:—Свое же жгут, дикари!..—загорелось внутри: татарское, изначальное—засвистать над городом так вот в два пальца, чтобы люди шарахнулись, чтобы ужасом дрогнули... за нерадивость свою, за темень такую, что миру страшно... а что сам—волк затравленный, задами пробирается, жжет кто-то пьяно, шало, бессмысленно, что такими трудами для него же строил. Зверье, зверье—лучше,—а небо в осенних звездах колючих, небо в чешуе рыбьей—и бессмертие такое, вечность—на древнем кремле русском.

Говорил Юстин:

— Теперь все затаи, гордыню свою затаи, человека затаи... теперь зверь ты травленный. До утра не придут сюда, а как ободняет—проведу тебя ходом... ход земляной, камнем завален, на версту идет, а там бакенщик верный есть, монах непокорный—разстрига, за ночь далеко отвезет, сам дойдешь там—кто тебя знает там!..

В часовне сидели, окна решетчатые, острожные,—холодно, дико, крысы монастырские в город сбежали от голодухи,—хлеб черный ломали—вот уж родимый хлеб—в неволе да голоде всю родимость его узнаешь, колосом ржаным на той земле растет, суглинку, где больше чем черноземья.

Говорил Курдыш:

— Идем со мной, богомаз. Большую тебе жизнь покажу, как люди строить хотят, как жизнь делать научилась. Всю Россию перепахали, по-новому засеять хотят... Много, богомаз, увидишь, крови много и страдания человеческого много, но и мечты зато много, никто еще на Руси мечтать так не смел...

Сидел Юстин в углу, колена руками обнял, как острожник. Опять пружина шепотком развертывалась:

— Никуда не пойду я отсюда. С теми не ушел, с тобой не уйду... Жил здесь один—здесь и останусь. Наша правда вашей не рознь: наша правда скитская, раскольничья... по лесам выношенная, ветлужским да керженским, наша правда тоже за Русь—

против несправедливости, притязательности человеческой, веры поповской... Мы и земле поклонимся за хлеб, и человеку за труд над ней—земля наша кормчая. И вы к правде идете—только другою дорогой, мечом да словом крутым, а правда наша одна, земная...

Запомнил Курдыш крепко: ночь эту, разговор осторожный в часовне пятисотлетней, дикость вышины фряжской—так же на срывах строили генуэзцы крепости свои дикие, над ними и посейчас—птицы одни да вечное одиночество,—и здесь рано, чуть ободняло осенне, уже засвистали касатки в паволоке молочной,—запомнил Курдыш еще: путь дикий, подземелием, на четвереньках, вспыхнет на миг кремень зажигалки—камни мшальные да серые пауки в стороны—кто полвека назад полз подземелием этим и от чьего лихоимства строилось! Дышали во тьме часто, ногти о камни обломаны, трудное сердце у горла стучит, дальше припадали, ползли—и вдруг посерело, или в глазах от спертости бело стало, зелень на стенах проступила—вверх уходит колодезь каменный, по выступам—и день над ним, такой простор, белизна такая, такая вечность воздушная. Захотелось Курдышу закричать, зареветь так—восторгом, жизнью вновь найденной, в траве кататься,—росная, холодная трава осенняя. Вот она снова—кормчая любимая земля,—холодны ее недра, а по ней идти—легкость одна, слава одна. И дальше кустарником пробирались—лежит Кама утренняя, в тумане, тем-

ны берега, сини кручи. И в норе каменистой—в самом каменном срыве, как пещерный человек какой, живет бакенщик. Поглядел Курдыш в синие глаза в бороде курчавой—по самые глаза борода—не страшно стало: не выдаст. У пещеры поплавки бакенные, снасть нехитрая, лодка смоленая.

Сказал Юстин:

— Сейчас отоспись пока, к вечеру отвезет, доедешь там авось. Не такие дела ворочал, небось,—и раздвинулись вдруг усы кустатые, зубы желтые—улыбнулся, словно солнце в тумане.—А мне назад вернуться. На след наведешь ненароком,—надо, чтобы видели люди—здесь я.

Уснул Курдыш крепко в пещере, сразу; хорошо человеку спится после тревоги,—и день осенний разжегся. Засияла заря на кресте соборном поклонском, загорелись окна по взгорью, долго плескался пожар, дома зажигал—поплыл день, как ковш синий осенний. Проспал Курдыш полдня,—выпростал бакенщик уже верши на ночь, уха в котелке—никогда вкусно не ел так Курдыш и никогда не казалось так, что далеко тревога и опасность жизни, а одно и есть только—радость эта жизни, да ход ее прохладный и полный, как осенний день этот. Много молчал бакенщик, трудно говорил—жил сам с собою в пещере, выплывал на душегубке сеть ставить, фонари опралять, костью рыбьей наместо иглы чинил удобу свою, как дикарь какой—может быть, здесь

вот, на берегу речном, правду свою нашел, бакенный фонарь свой засветил. Много людей таких молчаливых, бакенных по России плыло, указывало дорогу пароходам, сиротствовало в ночной черноте, непогодою задувалось.

Вечером—когда задернулась Кама туманом—повез он его в душегубке, долго плыли, ночь всю плыли, застыл Курдыш, и звезды холодные, как глаза кошачьи, и ночь на берегах притаилась—кошкою черной. Под утро пристали далеко к желтой косе, за желтой косой—берег, села и веси, да города, пошел Курдыш монахом странным, в подряснике и шляпе итальянской,—а хоть очерствел народ, олютовел,—а любят спокон на Руси странных людей юродивых, монахов-расстриг, калик переходящих,—дошел Курдыш до первого города; и уже дальше понесло поездами, опять в сапоги да куртку ложеную бросило, жгутом опоясало,—новый фронт понесло месить, как кряду пять лет месил.

И утром же, как вернулся Юсгин в логово свое, где сыростью, доской кипарисной, лаком богомазным пропахло,—пришли наверх люди; черно стало на площади кремлевской. Всю ночь Поклонск рыли, Курдыша искали, показал человек один—тот, что глазами пустыми стекло сдавил, когда шли огородами,—показал человек—вел богомаз Курдыша задрами. Солильщицы краснорукие, молодцы куреповские,—словно ветром в кучу смело опять—вел человек угрюмый, нездешний, нос хрящом, щетинка на

подбородке. Спросил человек Юстина—есть голоса такие: негромкие, беспощадные:

— Ты комиссара увел?

Огляделся Юстин: черные глаза запавшие, иконные, тесно кругом, в один вздох дышат; касатки в небе высоко—быть погожему дню; перелет скоро птичий, закружится Кама туманом, полетят к теплым морям; вздохнул глубоко, сказал.

— Я.

Дохнуло жарко кругом. Сказал Юстин еще:

— Я увел. Слепога ваша, жадность до крови ваша, человека настоящего зря погубить—что вам стоит. Зачем ватаги жгли, для вас же строил, ваше добро, для вас трудился много!

И опять жарко дохнуло. Крикнул куреповский-торговорядский:

— А ты кто—пашенков за махру учить стал? За иконами прятался, веру поганил!..

Оглянулся Юстин: одни рты открытые черные, лица красные,—так спокон забивал конокрадов полевой самосуд мужицкий—и снова: свет милый, касаток, мир узанный свой увидел Юстин. Широко голубеет осеннее небо, облака, как досчаники парусные, легко, просторно жить человеку.

Долго, три дня и три ночи, над самым срывом, над дикою осыпью кремлевской, так, чтобы видно поклонским было и с Камы далеко—качал ветер черный кокон, глазницы черные, воронье пугачев-

ское низко летало—приказал не снимать угрюмый человек негромкий, чтобы другим неповадно было, чтобы крепко запомнили. С Куликовской битвы еще а может и раньше, с варягов,—знает воронье свое ремесло—и нигде нет воронья такого, как на Руси: и наперво всегда глаза выключет, чтобы не видел человек посмешийца своего и тленной своей юдоли. Змеист кремлевский ветер осенний, шелком прошумит, просвистит по змеиному на крестах да в пролегах,—рано ложились поклонцы в непогодливые эти ночи, крепче ставни сдвигали. В осень клубится Поклонск туманом, черная вода камская, последние пароходы идут; по утрам в шерсти овечьей от изморози склоны, серый тес острожный, да такая высота, такое окаянство, сивая тоска такая, одиночество русское.

И осенью этой же шел Курдыш, скрипели в ночах повозки, кони ржали, походные жгли костры—шла Русь походом, войском мужицким красным,—та же посконь да сермяга, крестным путем своим: землю усобицами собирать. Много курганов насыпано на пути, улодили горбами к Азову и к вольным степям казацким, голубые туманы, сухмень да зной степной непалящий. Ночью осенней взобрался Курдыш на курган—долго взбирался, и вдруг: такой простор древний, как тогда на кремле поклонском, в туманах, в безмолвии лежит земля, немая земля ночная,—а если прилечь к ней ухом, прислушаться—таким зовет голо-

сом утробным. Долго стоял Курдыш на кургане, пожарами половецкими полыхает степь, ветер ноздрями ловил—степной ветер, татарский—тот, что в крови шумит, вспомнил богомаза, не в таких же ли ветрах ночных, гудом земным правда его отстоялась?

Утром рано повозки заскрипели, тронулись кони, снялось становище, отступал враг пожарами, казнями, вороньем,—и в ночь одну обезвластел снова Поклонск: отступали на пароходах, опять пожгли, чего не вывезти было, и снова на белом доме куреповском красным пролился флаг. Снова завозился город, на новые службишки побрел народ поклонский, поглядит проезжий кто—на тес, да на гнилозубье еще от сожженных ватаг—скушно станет: дальше, мимо и защемит сердце от дикости осыпей, от плюща векового, от сверкания стрижей на такой высоте нечеловеческой.

А в кремль—к весне, как зацвел он диким цветом, такой черемухой густою по склонам, что от миндального черемухового духу голову ломит,—перевели весной в кремль детей. Зашумело в сырых монастырских кельях, открыли стрельчатые окна, вошло тепло; таким гомоном детским, звонкостью, жизнью шумной—одни кастатки носят беспокойно; отошел в кельях камень от солнца. Днем по склонам кумач детский, как земляника, на стенах кремлевских белоголовые, сидят на стенах ребята безродные,—а полна безродных Русь испокон,—плетут из лычка корзинки, ящериц ловят скользких—

и поют вечерами; и далеко вечерами колокол слышен по Каме: ко сну. Утром рано зашумит кремль, пойдут с ведрами за водой, дымок над трапезной монастырской закурится—своим живут государством детским. А над срывом, где кряду три дня осенних и ночи кокон болтался черный с пустыми глазницами—такая черемуха густая, такие залетные соловьи жегулевские ночами изводятся, таким цветом весенним цветет земля, что самый заскрузлый кто—отойдет поклонский, словно зов слышал: и что с собой делать, и как жить так, чтобы землю и жизнь славить — знает в эту пору.

Июль 1923.

Лопасня.

П О Л Ы Н Ь

I

Небо ли шлет эту стынь, судьба ли, — ночью тьма, мороз; днем — сизый иней, воздух остр, труден. И проходят в тумане, за ночью ночь, днями за днем — в великом отступлении. Это отступает не войско, не солдат, закутанный в тряпье, волочит отмороженную ногу, — тень лютого человеческого страдания проходит сквозь туман, из одной большой сибирской деревни в другую. Ночью горят костры, набиты избы: днем тянутся дальше, бросая по пути раненых, отставших, замерзших — милосердия не будет. Уже прошли чехи, прочно одетые, с богатым обозом; поляки со своими здоровыми конями, походными кухнями; теперь идет русская серая пехота, нищая скотинка, все тая и тая в снегах... И шумит два дня пурга, несет крупу, проносится со свистом белыми саванами, засыпает все. На третий день утром все чисто, бело, ничего не было. Синее небо, красное солнце.

У белого вокзала большого сибирского города стоит покорно, как прирученное, стальное чудовище со своими башнями с дулами орудий, платфор-

мы с бойницами — броневой поезд; длинный сверкающий вагон с зеркальными стеклами прицеплен сзади: в нем новая власть. Часовые со штыками поплясывают от мороза возле вагона. На вокзале солдаты, груды брошенных винтовок, позади взорванные мосты, сброшенные под откос составы, — здесь, в теплом салоне, мягкая зеленая кожа, сухо трещит машинка под белыми пальцами светловолосой стриженной женщины в папаче, в кожаной куртке; деловито пахнет табаком; и ходит из угла в угол тот, кто на штыках своих солдат принес новую власть: высокий, в меховой распахнутой куртке, небритый, большеносый, нескладно скроенный; диктует на ходу машинистке, присаживается к столу подписать приказ, прочесть телеграмму; отдает приказания людям в полушубках, в ремнях портупей, в длинный коридор с красными полированными дверями купе. И проносит старый проводник, перешедший вместе с вагоном к нему от прежнего правителя, на подносе стаканы с крепчайшим чаем.

День за днем входят в город войска, уже лезут солдаты на стальных кошках по телеграфным столбам, и протягиваются новые мохнатые от инея проволоки. Еще полон город врагов, их ищут день и ночь и гонят толпами к переполненной каторжной тюрьме, краснеющей на закате своим вечным бессмертием. Еще сидят по домам обыватели, но вылазят мало по малу любопытные, и скоро полны

улицы, как во время праздника или гуляния. Любопытно и страшно, когда сменяет одна власть другую: одним она ненавистна—она несет им гибель и разорение; день за днем ожидали ее тайно другие; но больше всего тех, для кого равна всякая власть, лишь бы она не мешала их малым делам, берегла бы их жизнь, жилище, давала бы им хлеб,—они с ней, они ее спутники.

И обо всем этом должен помнить новый правитель, часами ходящий из угла в угол теплого зеленого салона. Вот по громадной карте, распятой вдоль задней стены, движется его армия—ей нужны кров, хлеб, лазареты; лошадям—фураж; враг не добит—надо занять все опорные пункты, передвинуть эшелоны, выгрузить кавалерию. Можно ли доверять во всем тому седуусому спокойному человеку в ловко сшитом френче, с плечами, как-то насмешливо щеголяющими вынужденной пустотой; он водит по карте своим холеным пальцем с острым блестящим ногтем, он улыбается и держится, как равный, у него свое купе, свой кожаный несесер с щеточками, зеркальцами и флаконами; от него приятно и мягко пахнет духами; но кто знает, что скрыто под черепной этой крышкой, так домашне блистающей розовой лысинкой; у него золотой зуб сбоку—как бы знак домовитости, зрелой устоявшейся жизни,—но знает ли кто, что означает эта ровная улыбочка розовых губ под жемчужно-седыми подстриженными усами? И трудно морщит правитель лоб,

внедряется в карту. Короток зимний день, сини сумерки; в сумерки подкатывает почти к самым путям колясочка мотоциклетки; совсем маленький, как бы игрушечный человечек, в помутневшем пенсне, с громадным набитым портфелем, вылезает из колясочки и идет к вагону. И остаются они в салоне вдвоем: один высокий, нескладный, тяжелый, другой — крохотный, изсиня-бледный, с бородачкой, с слабыми тонкими руками из под коротких рукавов: они — делить власть. Достает маленький из портфеля белую стойку: здесь все нити, здесь ключ того заговора, который раскрыт и будет сломан, уничтожен сегодня ночью. Малая слабая рука играет чернильным карандашиком. Наклонившись друг к другу, — читают они листок, лиловато отстуканный, и подписывают оба — один размашисто, другой нежным женским мельчайшим почерком, И вот кончен сговор, снова за окном оттрещала мотоцикл, — теперь приносят груды сырых телеграмм, пахнущих тестом. Есть еще остатки врага и ведут наступление: они пьяны и безрассудны последним отчаянием, их нужно окружить, не дать прорваться в тайгу, — и разыскивает правитель на карте нужную точку и вместе с седоусым подписывает телеграмму: через минуту мохнатые проволоки передадут за тысячу верст житейские простые слова: „сапог“, „седло“, „уздечка“, тайный смысл которых разгадает лишь свой, тоже замкнутый, тоже привыкший к опасности.

Но мало ли еще врагов разбежалось, ушло в тайгу и стережет оттуда каждый шаг, взрывает по ночам мосты, разбирает пути... Безмерна Сибирь, безмерна тайга. Кедровые ели стоят неподвижно под тяжелыми глыбами снега; снег замечает заячью тропу; вылетит из бурелома с глухим хорканьем терев, или пролетит низко серая куропатка; вот треск в лесу—идет не спеша медведица с подростками за осень медвежатами, и фыркает конь путника, прядает ушами и пятится. Дальше, глуше треск—прошла невидимая, только на снегу горячий помет, да клочья бурой шерсти на сучьях. Серяк выбежал на опушку, сел на мягкие задние лапки, поводит живым носом, слушает запахи; и вдруг вскинул зад с белой подпалиной, поскакал, закружился в зимней заячьей радости. И снова тиха тайга, только белка с растянутым, как кормило, пушистым хвостом, летает с ветки на ветку и сыплет вниз шелуху кедровых шишек, да тянет кислый голубой дымок над засыпанной снегом заимкой. Ничего не было: ни людей, ни людского страдания. Есть часть земли, закованной в лед, в долгое зимнее молчание. Молчит подо льдом синее море Байкал; на горах снег, голубые кристаллы льда, низкие густые облака цепляются за них своими обвисшими животами. Глуха тайга. И крепнет к ночи мороз.

Уже отправил правитель все телеграммы, отзвонили звонки телефона, сменились часовые у его

вагона; уже задвинуты двери купе — спит седоусый, сухим теплом несет от блестящих алюминиевых крышек отопления — и наступает горький, долгий час его бессонницы. Приносит проводник на подносе ужин и расставляет с привычной бесшумностью блестящие тарелки, стаканы с крепким чаем, — лысый, с линялыми синими глазками, почтительный, непроницаемый, замкнутый. Но глубоко ушел тот в кожаные зеленые подушки дивана, и папироска тлеет за папироской; синий дым стоит над ним; полны окурков пепельницы; теперь он весь как бы потух, невидящие глаза ввалились, в черных спутанных волосах видны белые нити. И выходит к столу та бледная светловолосая женщина, которая днем писала под диктовку его на машинке. Теперь она мягка, женственна, на плечах теплый платок. Она садится напротив, на другой диван: и так же, как и он, курит папироску за папироской, задумчиво отряхая пепел. Ее лицо тоже угасшее, серые глаза глядят мимо, неподвижно. Теперь она его спутница, его жена. Что из того, что у него где то жена и белоколых две маленьких девочки, и у нее семилетний задумчивый мальчик, который ждет ее и бесцельно целует в редкие приезды ее глаза и бледные щеки. Здесь новая, стремительно несомая жизнь; здесь — новая семья. Но пишет часто она в далекий город: „бесценный мой мальчик“, и получает изредка он толстые пакеты, в которых большие каракули, картинки

и сухие цветы. Так курят они друг против друга, синий дым стелется поверху, и стынет крепкий чай. Изредка перекинутся словом, прислушаются к возникшей вдруг на путях перестрелке, к порыву зимнего ветра, — и поздно, в четвертом часу, когда ушла уже она в свое купе, надевает он папаху, меховую куртку и выходит наружу.

Глух, мягок вагон, чуть качнется от его ноги, ступившей на ступеньку, — и вот ночь, лютый к утру мороз, спит вокзал, спят поезда, застыли часовые со штыками. Над городом, над вокзалом как бы полярная тьма, ледяное дыхание. Сыро режут столбы; в залах вокзала, куда он заходит на миг, — духота, кислый смрад, груды солдатских тел, навалившихся для тепла друг на друга. И возвращается он снова к вагону: снаружи тот мертв, спит, плотные занавески не пропускают света. Снег остро скрипит под ногами, красный огонь папироски осветит индевеющий ус. Небо черно, низко, бесчисленные миры звезд горят на нем. Нежный Сириус среди них, как вечная мечта и напоминание.

II

Чуть бело утро, трещат от мороза бревна построек, но уже открываются с долгим скрипом ворота тюрьмы, новые пришельцы входят в нее, иные ненадолго, иные... Их пересчитывают, их окликают,

у них шарят по карманам, их толкают заостеневшие от мороза руки. Топот по лестнице, грохот дверей, и снова тишина, спит тюрьма дальше.

В камерах духота, на стенах перламутр мороза — видят прежние утром новых пришельцев, узнают знакомых, расспрашивают, проклинают, покорствуют, Остатки ли это разбитой армии, сыновья, братья тех, кто бежал на восток, замерзал в нетопленных вагонах? ловкие ли дельцы, просто грабители? — здесь все равны и участи всех одинаковы. Кто знает путь человеческой судьбы — этот ли маленький рыжий человек, весь водянисто-пухлый, с рыжей щетинкой, с карими, влажными сучьими глазками, на нарах, бессонно к окну; или этот густо поросший длинной исчерна-седою щетиной, с бритой головой, с орлиным носом, с остро-блистающим взглядом, кавказец? Кого прирезал он ночью сильной рукой, почему кривятся его губы недобрым воспоминанием? Или тайный враг этот — непроницаемо-высокомерный, с седыми усами, все еще молодцеватый, словно на покато́й груди все отличья былой его храбрости. Здесь все равны. Здесь все — пасынки короткой равнодушной жизни.

Но не для всех ночью — сон в большом городе. Еще светится смугловато на белой пустынной улице окно дома: это свет не бессоницы, не горького часа раздумья, это свет — работы, напряженного человеческого труда. Тот, кого привезла сегод-

мя к вагону трескучая колясочка мотоцикла, сидит, склонив над грудami бумаг бледное, парафиновое лицо; худые руки листают листки. Это — отречение, подвиг, непосильный труд, взваленный на одного человека; близорукие слабые глаза щурятся под стеклами очков; нежная рука сухо чертит надписи мелким почерком, ставит в углу застенчивую подпись; глыбы бумаг лежат перед ним. Знала ли его семья — бедного еврея-часовщика на Миллионной улице в мишем городке, что будет младший сын большим человеком, что будут ему подвластны судьбы людей, их жизнь и смерть. Не его ли, слабого, шатающегося от болезни, гоняли с этапа на этап, годы томили в тюрьмах всех городов, не давали старшему брату учиться, не пускали отца в большой город. Теперь спит отец, спит брат; белые доски с родными надписями стерегут их сон. Один он остался искупить горечь их жизни. Отец верил в бога и молился ему в белом талесе через шею. Сын не верит в бога, верит он лишь в закон жизни, в строгий порядок всех вещей на земле. С людьми он холоден, к ним он равнодушен; одни его книги — верные спутники, их он знает, им верит — в них строгий порядок, твердый смысл, — сравнима ли с ними беспорядочная человеческая жизнь? И чертит сухая рука надписи, подписывает приговоры. Что ел он сегодня и ел ли? — были звонки, сотни дел, десятки людей ожидали его.

Доеден хлеб в столе, у него нет заботливой женской руки, которая все ему приготовит; есть у него одна лишь привязанность в жизни—крохотная собаченка, с черною спинкой, с коричневыми ушами; она спит на круглой подушке на диване, и отрывается от работы, смотрит на нее поверх очков, проходит в соседнюю комнату и наливает в блюдечко молока; и начинает, дрожа всем телом, собачонка лакать, он стоит перед ней и щурится слеповато, и улыбается. Но грохает вдруг среди ночи дверь, стучит в дверь дежурный—и сразу бесшумно подходит он к столу и опускается в кресло. Была ли сегодняшняя ночь удачна, верны ли сведения?—и, стоя подле, докладывают двое: один низкий, весь раздавшийся, с красным раздутым морозом лицом, другой черный, матросская бронза лент, как бы тень. Сведения правильны, шестнадцать человек захвачено в доме, в черных портфелях—бумаги, переписка документы. И тогда тихая улыбка раздвигает вновь его губы: значит, недаром был его труд, недаром бессонницы, звено за звеном размыкает он хитрую цепь еще большею хитростью, большим коварством. Вот удача, вот щедрая награда за мучительные его часы. Теперь кончен трудовой день, теперь отдых, сон. Одежду на стул, очки, револьвер на столик, тело—на кровать. Малая его собачонка спит с ним рядом в постели, и засыпает постепенно и он. Сон без мечтаний, без видений. Ночь дотаевает. Пепел зари—рассвет.

III

И сыро, долго режут гудки в пепельный час: призыв к труду. Поднимается рабочий люд, протирает глаза ладонями в черных масляных трещинах, и тянется вскоре к мастерским, к огромным воротам закопченных депо, в которых угрюмо, как большие слоны, стоят паровозы. Уже рвется горячий пар, текут и текут ремни приводов, пробуждая станки: вот с визгом высверливает один стальную форму, и льется из под сверла мягкая витая стружка спирали; железный брус рдеет, как уголь, в белосинем огне, и знает каждый, стоящий возле станка, свой отмеренный ограниченный труд. Этот плющит шляпку болта, другой ведет тонкую резьбу нарез, копошится третий в закопченном недре паровоза. И долгий сумрак, слепой день в мастерских; землисты лица даже самых молодых, слепнут глаза от жестерпимого пламени; слабеет слух от железного визга. Вот ловко направляет ремень розовой культишкой с коротеньким пальцем один, и привычно другой перекидывает на костыле искривленное тело.

Но не их ли теперь пробил час? Пришла весть о конце этой закланной жизни; во славу их торжества развеваются новые флаги. И в полдень снова немолчно, призывно ревет гудок, собирая всех под стеклянную крышу. Приходят старые, в очках, в ко-

жанных фартуках, подростки с папиросками, работницы в холщевых передниках. Уже густо чернеет толпа, наполняя широкий проход, взбираясь на паровозы. А надо всеми на деревянных мостках стоит тот, кто до рассвета ходил из угла в угол своего вагона. Вот поднял он руку над затихающей толпой и бросает вниз первое призывное слово. Пробил час, и золотая заря взошла над ними. Мир следит за их победой, пасынков судьбы. Соппротивление сломлено, враг добит. Были ничем, пылью, тенью — владеют всем. — Смотрят на него старики, еще шурысь, еще недоверчиво, — но не золотое ли солнце воистину восходит над этой закопченной крышей? — И продолжает тот речь. — Их руками, их волей добыта победа. Только труд, один труд, труд удесятенный, умноженный, труд дня и ночи, может ее сохранить. Знали праздники, отдых, — нужно забыть их. Пусть друг за другом, с победным гулом, выходят эти чудовища — покорять пространства, перевозить хлеб, утверждать славу труда.

И кончена речь, сходит он и идет посреди других, в шинелях и полушубках; новенькая светло-зеленая машина уже дрожит, клочечет у входа и уносится вскоре певуче. Расходится толпа, разбредается снова по своим цехам и мастерским, где желто горит электричество, и жидкое мыло и сало стекают в желоба. В сумерки, чернея на снегу, она возвращается в свои логова для короткого отдыха, сна — наутро новый вопль гудка прервет его, возвещая о

великой силе, ведущей Мир и навеки им покоренной.

И день проходит за днем. Уже оплетает новая власть своими распоряжениями, приказами, новым устройством — страну, знают о ней в глухих деревнях, уже перекинута прямая связь с далекими городами, деловито стучат машинки, выпускают листки и воззвания типографии, расположены на зимовку войска, перешарены города, остатки вражеских войск, голодные и замерзшие, сдаются целыми частями. Уже по утрам наполняются улицы служащими, спешащими на новые службы, перебирается правитель из вагона в белый дом.

И ночью снова один ходит он из угла в угол большого теплого кабинета. В камине груды жара, лилово-золотистые кочаны сожженных бумаг, текущие смуглою кровью; на стенах моря, корабли в оранжевых рамах.

Но грохочет уже в нижнем этаже команда, устраивается на новое жилье, ставит козлы, вешает оружие, вкатывает пулеметы. Их двадцать шесть, рослых, белокурых, крепких, огрубевших от похода, несущих с собой крестьянское латвийское здоровье, скуечающих по опасности. Через двор ведут лошадей, начинается в доме новая жизнь.

В сугробах, закоростелых от стужи, прорывают люди ходы, волочат топливо, первобытно бьются за каждую пядь этой снежной заскрузлой земли, высекают кремнем огонь, строятся — жить, жить, не-

смотря ни на что, несмотря на ледниковые стужи, на человеческую кровь, обильно политую—утверждать себя на земле—крутым нравом, большей выносливостью, жесткой хваткой зубов. И те, у кого крепче эта хватка, сильнее упорство, тверже вера в себя, в порядок своей человеческой правды—те остаются жить, несмотря ни на что—ни на кровь, ни на смерть—сквозь стужи, метели, снега—до нового цветения земли. Земная правда—за ними.

IV

Мороз, полярная ночь. В ледяном воздухе туманная дымка стужи. И чище, холоднее серебряный Лебедь и дрожащая Вега в ливне осколков, осыпавших небо до дальних гор, до хребта, над которым недавно лишь нежно горела розовая заря. Это путь к югу, где сияет и стынет золотой поводыр—червонный Юпитер. А кругом равнина и равнина, она сверкает застывшими кристаллами снега, ни звука, ни ветерка, только ухнет вдруг треснувшая от мороза земля. Ледяной стужей скован полярный круг. Но кого легко, бесшумно несет судьба по этой пустыне, чей звучит над ней голос глухим жужжанием? Это каюр-ямщик, старый тунгуз на своей легкой передней нарте. Нарта за нартой скользят беззвучно вниз по равнине, к руслу реки; только стучат рогами да звенят копытами о землю олени.

Ноздри их заledenели, крутой горячий пар рвется из ноздрей, и перебирают легко стройными своими ногами влажноглазые покорные важенки. Сидит каюр-тунгуз, помахивает над оленями длинною палкой, то выпростаёт ногу в оленьих камусах и пробежится рядом, то снова садится, смотрит вперед своими старыми слезящимися глазами; и напевает. О чем поет полярной звездной ночью тунгуз и кого везет в своей легкой повозке с поднятым верхом: колымского ли купца, скупщика пушнины, русского ли тайного спиртоноса или казака-якута, спешащего с бумагами в большой город Якутск? И скользят нарта за нартой, спускаются к руслу реки, и легко несут олени по наледям. Поет каюр свою заунывную песнь. Поет он о том, что везет теперь путника по руслу, а дальше будет ущелье, задует ветер, и близка юрта станции, где жарко горит камелек. Стучат олени рогами, помахивает возница длинною палкой, а золотой Юпитер все светит и светит на юге, указуя путь.

Крепче мороз, ухает чаще земля, и жужжит, жужжит в ночи песнь. Вот миновали русло, медленнее бегут олени по подъему в ущелье; закатывается звезда за снежную пику. Южный ветер проносится и леденит дыхание. Медленно, шаг за шагом, взбираются олени к вершине, поскрипывая ремнями нарт. Все ниже, светлее небо, словно полыхает на нем зарево белого пожара, и вдруг засияло, засветилось над снежною кручей, где стали олени, бросая горя-

чий пар. Туго льются в черном чернильном небе звезды, а на севере светит, беспокойно дрожит, перемещается великая дуга полярного сияния. Перистые пучки, зеленоватые, алые, дрожат под ней и уходят кверху, раскидываясь нежным, мохнатым, бледным-изумрудным, розовым веером. Горит Север этим беспокойным, неверным огнем, светящиеся облачка проплывают в нем, как перья синекрылого лебедя,—это светит Мир своей последней полярною нежностью, невидимый, незримый, вечный. Выше лент дуги, вот две дуги охватывают на зените землю, дрожат, меркнут,—и светящийся меч возносится над застывшей равниной, над хребтами и горами, куда ведет путников путь. Спускаются олени в долину, легче, быстрее бегут, чувствуя близкий отдых. Еще безлюдна равнина, нет ни жилья, ни занесенного снегом кустарника, — но уже льющимся золотом светится морозный туман, рвется сияние искр из трубы юрты—малой станции.

Сидят скоро путники перед жарким камельком, пьют горячий чай, потирают застывшие лица. Подбрасывает хозяин-якут в огонь куски дымящего кизяка, и жарок короткий сон...

Но не отцвели еще звезды на небе,—уже перепряжены олени, снова в путь. Бледнеет небо, как ледяные иглы тают в мгле, в синеве звезды, гуще туман, крепче перед утром мороз. Бегут по сторонам время от времени кустарники, низкие кедры — и мутен полярный рассвет. И медленно вскоре.

начинают олени подъем. Все чаще дышит красивая тонкая важенка, и последняя звезда, как зеленый паук, цепляется меж ветвистых рогов оленя. Но вот померкла и она, и всходят олени на вершину. Открывается снежная панорама, горы уходят одна за другой своими белыми ребрами, синий туман стоит в ущелиях, и вдруг розоватый трепет пробегает по склонам, розовое дыхание проносится над миром, ало-золотистый обруч ложится над одним из хребтов — и все мягче, нежнее становится снежная пустыня. Новое солнце встает над равниной, загорается венчик рдеющим углем — и смотрит старый каюр на солнце слезящимися глазами. Сколько раз светило уже оно людям, и как мало научились они его нежности и теплу. Легко бегут олени по склону, спят путники в своих оленьих кулянках, надетых через голову, кверху замшей, вышитой красным. Помахивает каюр над оленями палкой, поет песнь.

— Наступил час солнца, настало время путникам разомкнуть глаза. Блестят снежные белки на горах, расходятся путники по своим делам. Пришла пора взойти солнцу, пришло время путникам кончить путь.

Март. 1920.

Урянхай.

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
Новость о многих днях	7
Голубое и желтое	45
Чадок	71
Зацветает жизнь	91
Земля	125
Полынь	151

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПУЧИНА“

Склад издательства: Москва, Петровские линии,
угол Петровки 1/20, тел. 4-90-76.

- Роберт Шовело. **Жертва фанатизма.** (Parvati) Роман Пер. с французск. Э. Левин. (Печатается).
- Альберт де Пувурвиль. **Китайские тени.** Перев. с франц. Т. Павлова. Ц. 80 к.
- Анатолий Франс. **Роман актрисы.** (Печатается).
- В. Вейнич. **Джек Раймонд.** Ром. (Печатается).
- Альфред Машар. **Судебная ошибка.** Роман. Перев. с французского Р. Шрейдер. (Печатается).
- Брет-Гарт. **Искатели золота.** Роман. Пер. с английского Н. Казмина. Ц. 75 к.
- Пьер Амь. **Лен.** Роман. Ц. 1 р.
- Киплинг. **Шпион.** Роман. (Печатается).
- Х. Бергер. **Дневник одинокого.** Роман. Перевод со шведского Б. Гимельфарба. Ц. 1 р.
- Джозеф Гершгеймер. **Кукла и женщина.** Современный роман из американской жизни. Перевод с английского Предисл. Мих. Левидова. Ц. 1 р. Готовится собрание сочинений.
- Ллойд-Джордж. **Мир ли это?** Перевод с английского. Цена 1 р. 50 к. (Разошлось).
- М. Левидов. **Диктатура пустяков.** (Англия в памфлете). Цена 60 коп.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- Проф. У. Голенкин. **Растительный мир, как производительная сила природы.** Цена 80 коп.
- Проф. Кулагин. **Животные организмы как производительная сила природы.**
- Проф. Куллевиг. **От лаборатории к фабрике.** Редакция проф.-инженера Н. Мартыанова. Ц. 90 коп.
- Проф. Козо-Полянский. **Новый принцип биологии.** Цена 1 р. 20 коп.
- Камилл Фламарион. **Прогулка по звездам.** Под редакцией проф. С. Блажко. Перевод с французского П. Оленина-Волгаря. Цена 90 коп.
- Проф. Н. Виноградов. **Очерки по истории идей дошкольного воспитания.** (Печатается).

4-3
321459/x000